ЛЕГЕНДАРНАЯ ОРДЫНКА

МИХАИЛ АРДОВ

БОРИС АРДОВ

АЛЕКСЕЙ БАТАЛОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Сборник воспоминаний о жизни московского дома Н. А. Ольшевской и В. Е. Ардова, где подолгу в послевоенные годы жила Анна Ахматова и где бывали известные деятели литературы и искусства. Читатель увидит трагический период истории в неожиданном, анекдотическом ракурсе. Героями книги являются Б. Пастернак, Ф. Раневская, И. Ильинский и другие замечательные личности.

В книгу вошли повести «Легендарная Ордынка» протоиерея Михаила Ардова, «Table-talks на Ордынке» Бориса Ардова и «Рядом с Ахматовой» Алексея Баталова.

- Михаил Ардов
  -
  - I
  - II
  - III
  - IV
  - V
  - VI
  - VII
  - VIII
  - IX
  - X
  - XI
  - XII
  - XIII
  - XIV
  - XV
  - XVI
  - XVII
  - XVIII
  - XIX
  - XX
  - XXI
  - XXII
  - XXIII
  - XXIV
  - XXV
  - XXVI
  - XXVII

Михаил Ардов
Легендарная Ордынка

Видит Бог, я не хотел писать эту книгу. Друзья много лет уговаривали меня сделать это, а я отнекивался, отказывался, убеждая их, что в моем теперешнем положении, «в сущем сане», это и неловко, и, главное, неизбежно несет в себе некий соблазн.

И все же я решил взяться за перо. Побудительной к тому причиной стали не столько уговоры приятелей, сколько многочисленные публикации, в которых мемуаристы искажают факты, где содержится ложь, а то и просто клевета на дорогих моему сердцу людей. Существует даже попытка изобразить саму Ахматову эдакой полубезумной старухой, которая на склоне лет окружала себя «мальчишками»…

Итак — «Легендарная Ордынка». Выражение это вошло в наш семейный обиход с легкой руки Анны Андреевны, впервые его употребил какой-то ее гость, иностранец, который описывал свой визит в дом моих родителей.

Мне был год, когда меня привезли на ту квартиру, и я прожил там до тридцати лет, так что словосочетание «легендарная Ордынка» для меня помимо всего прочего означает — детство, отрочество и юность.

I

Я помню, я так отчетливо помню огромную толпу, множество людей, которые заполнили всю платформу, балконы и лестницы… Помню напряженную тишину, ненатуральное молчание, которое сковало всех, головы у людей подняты, и все чего-то ждут, прислушиваются…

Это одна из первых в Москве воздушных тревог, мы прячемся в метро, на станции «Комсомольская».

Вот мое самое раннее сознательное воспоминание. Только что разра-зилась война, и меня везут с дачи, с Клязьмы — в Москву, на Ордынку. Я даже не припоминаю, кто именно меня вез. Кажется, была няня Мария Тимофеевна и еще кто-то. Быть может, даже мама… Зато совершенно явственно помню толпу на вокзале, панику, звук сирены. Все толкаются, все спешат в метро, в подземелье…

Сама дача на Клязьме вспоминается мне совсем смутно. Зеленый ухоженный сад, веранда, соломенные кресла, фигура хозяйки… Родители говорили, что была она дама характерная, притом эстонка, Розалия Яновна. А муж у нее был русский, очень приветливый и добрый, совершенно подавленный своей властной супругой. А она о нем отзывалась так:

— Мой муш кароший. Ефо фсе люпят. Только я ефо не люплю.

А вот еще одно смутное довоенное воспоминание. Зеленый забор, кусты и два привязанных пса, две будки. Это Голицыно, задворки писательского дома…

Отец вспоминал, что собаки эти произвели на меня сильнейшее впечатление. Он спросил меня, трехлетнего:

— Ты их боишься?

— А они не будут нас кусать? — сказал я.

— Кого — «нас»?

— Ну нас, Алдовых…

Самое удивительное, что я плохо помню свою няню — Марию Тимофеевну. Лицо ее вспоминается мне только таким, каким запечатлено на семейных фотографиях. Зато помню руку ее — большую, мягкую, теплую… Помню, как гладила она меня по голове.

В нашу семью Мария Тимофеевна перешла от академика Зелинского, там ей довелось нянчить сына Андрея. Была она женщина умная, с чувством собственного достоинства и с языком весьма острым. На Ордынке долго бытовали ее поговорки. Например, такая:

— Коня видно по походке, а добра молодца по соплям.

Мой младший брат Борис родился семимесячным. После родильного дома ему создали особенные условия, поддерживали в комнате постоянную температуру. Мария Тимофеевна время от времени заходила туда посмотреть на новорожденного.

— Людеет, — произносила она со знанием дела.

У нас иногда вспоминался такой рассказ моей няни. Деревня, где родилась и жила в детстве Мария Тимофеевна, стояла на реке, а на другом берегу было село Милованово. В 1904 году докатилась до них весть о том, что началась русско-японская война. И тут одна глупая баба забегала по деревне с криком:

— Батюшки!.. Святы!.. Война!.. Война!.. Милованово-то хоть за нас?!..

В памяти моей всплывает тысячи раз слышанное слово — *эвакуация*…

Самые первые скитания, суета, неустроенность, тесные комнаты, где ютится по нескольку писательских семей, товарищи по несчастью.

Маргарита Алигер с крошечной дочкой Таней…

Старший брат Алексей, ему тринадцать, ведет меня за руку вниз, под горку, к какой-то пристани…

Где это? Чистополь?.. Берсут?..

Какое-то время все мы пробыли в Казани. Жили там в гостинице. Однажды Алигер выходила по какой-то надобности на улицу. Сидевший в вестибюле величественный швейцар-татарин сказал ей вслед:

— Дверь закрывай.

Алигер возмутилась:

— А вы тогда здесь для чего?!

— Иди, иди, гамна такая, — напутствовал ее татарин со своего кресла.

Ослепительный белый кафель, яркий свет… Огромная ванна, и в ней в теплой воде сидим я и младший брат Боря. Открылась дверь и входит мама, она несет большое пушистое полотенце…

Город со сверлящим, страшным названием — Свердловск. Там мы пробыли недолго, но жили у знакомых в роскошной профессорской квартире, где и была просторная ванная комната, так запомнившаяся мне после долгих недель неустроенного беженского быта.

Это и первое мое сознательное воспоминание о маме. Тонкие руки, худоба, изящество…

В матери нашей были не только женственность и тонкость, но и аристократизм. Родная бабка ее со стороны отца была из Понятовских, а дед (Ольшевский) — небогатый шляхтич.

Женились они по любви и после свадьбы скрылись от аристократической родни в России, во Владимире. Мама вспоминала, как в детстве их с братом водили поздравлять дедушку и бабушку на католическое Рождество. А по профессии ее дед был лесничим, кажется, самым главным во Владимирской губернии.

В юности да и в зрелые годы мама была необычайно хороша собою. Она довольно рано стала готовить себя к артистической карьере, семнадцати лет от роду отправилась в Москву и была принята в школу при Художественном театре. Там она познакомилась с Вероникой Витольдовной Полонской и Софьей Станиславовной Пилявской, и они стали подругами на всю жизнь. В шестидесятые годы я еще встречал старых москвичей, которые вспоминали, какими красотками были эти юные ученицы мхатовской Студии.

Бесконечные дощатые заборы, серые деревянные дома, немощеная улица, и вся она заросла травою… (Эту пыльную траву я запомнил особенно, местные мальчишки научили меня находить в ней незрелые семена, мы их называли калачики и съедали.)

Бу-гуль-ма… Это слово в моем сознании стало почти синонимом эва-куа-ции… В этом татарском городке, тогда еще совсем маленьком, нашему семейству довелось прожить не один год.

Голод, постоянный голод — вот что помнится лучше всего.

Какое-то короткое время меня водили в тамошний детский сад. Помню неопрятный просторный двор, а дети не столько играют, сколько смотрят на пристройку, в которой располагается кухня, — оттуда доносится запах гречневой каши-размазни…

Красное кирпичное здание в два этажа…

На фоне сплошь деревянной и одноэтажной Бугульмы этот дом выглядит небоскребом. Там располагался какой-то клуб, а наша мать ухитрилась организовать театр, в котором и начал свою карьеру мой старший брат Алексей Баталов.

Музыкальной частью заведовал Павел Геннадиевич Козлов, старый знакомый матери, еще по Владимиру. Он тоже был в Бугульме вместе с женою Еленой Ивановной и маленьким сыном Виктором. С юности Козлов собирался стать пианистом, но исполнителя из него не получилось, и он всю жизнь преподавал теорию музыки в заведении Гнесиных.

Иногда по вечерам после спектаклей они с мамой оставались в театре вдвоем, Павел Геннадиевич садился за рояль и играл. И вот что поразительно: они оба вспоминали, что, заслышав звуки музыки, на сцену выходили крысы, толпы крыс. Они усаживались

рядами и чинно внимали фортепианной классике.

— Он на тебя не бросится, — говорит мне большой мальчик, — ты в уголке лежишь…

Действительно, моя кровать в углу. А всего таких кроватей штук двенадцать. Это больничная палата для детей, и все мы болеем дифтеритом.

Только что на наших глазах умер годовалый ребенок. А сестра объявила нам, что он будет лежать тут до самого утра. И пошли страшные разговоры про покойников, которые нападают по ночам на живых…

Погасла лампочка, в окно проник лунный свет. А жуткие рассказы продолжались.

И даже когда все умолкли, я долго не мог заснуть, все поглядывал на кроватку маленького мертвеца — а вдруг он зашевелится?..

А утром в окно светило яркое весеннее солнце, и в нашей палате уже не было не только покойника, но и его кроватки…

Я еще толком не проснулся, как вдруг услышал стук в окно. Я выглянул и с высоты полуторного этажа увидел три фигуры — мама, брат Алексей, а с ними некто в гимнастерке с погонами и в портупее… Отец!..

Все трое улыбаются мне…

А это — первое сознательное воспоминание об отце. Штатского, довоенного я его почти не помню.

Надо сказать, что в армию он пошел добровольцем, серьезная болезнь врожденный порок сердца — давала освобождение от фронта. Ему, как и прочим писателям, присвоили майорское звание, и он всю войну служил в армейской печати.

О войне Ардов вспоминал довольно редко, и из его излюбленных застольных новелл к этому времени почти ничего не относится.

Вспоминается его рассказ о первой бомбежке, которую он пережил в армии. Было это под Ростовом, он ехал в воинском эшелоне.

— Начался налет, — рассказывал отец, — все мы выскочили из вагонов, разбежались по полю и улеглись на мокрую землю. Я некоторое время лежал, как все, — лицом вниз. А потом сообразил: если лечь на спину и не держать лицо в грязи, вероятность остаться в живых точно такая же… А потому я перевернулся и стал снизу глядеть на немецкие самолеты, на то, как из них выпадают бомбы… Это было очень интересно…

Тогда, в самом начале войны, кто-то из приятелей так отозвался о нем:

— Ардов такой нахал, что даже не трус.

В армейской газете вместе с отцом служил фотограф. Офицеры какой-то части предъявили ему претензию: он никогда не приезжает к ним — и газета не публикует снимков об их фронтовой жизни. Фотограф отвечал на это:

— Я ни за что к вам не поеду. У вас в блиндажах крысы!

— Какие крысы? — изумились офицеры.

— Вот такие большие! — отвечал тот. — Восемнадцать на двадцать четыре!

У Ардова был рассказ о военной цензуре. Там зорко следили, чтобы в печать не проникали конкретные сведения о войсках. Писать следовало не «батальон», «полк», «дивизия», а «часть», «подразделение», «соединение»… Однажды в газете шла статья о русском патриотизме с именами Дмитрия Донского, Минина и Пожарского, Суворова… Упоминалось там и «Слово о полку Игореве». Военный цензор механически заменил слово «полк», и в печати вышло так: «Слово о подразделении Игореве».

И еще военный рассказ отца. В качестве корреспондента он присутствовал на слете бойцов-отличников своего фронта. Членом военного совета был Каганович. Шел сорок третий год, и всех интересовал только один вопрос: когда союзники откроют второй фронт?

Каганович ответил на него так:

— Открытие второго фронта целиком зависит от одного человека — от Черчилля… Если бы Черчилль был членом партии, мы с товарищем Сталиным вызвали бы его в Кремль и сказали: или открывай второй фронт, или клади партбилет на стол!.. А так что мы можем сделать?..

— Нет, ничего не видно, — разочарованно произносит мой брат Алексей.

Мы с ним стоим у поленницы и ищем на дровах следы пуль…

— Давай еще! — командует брат.

Мы с ним отступаем от дров, отец поднимает руку и стреляет из своего «ТТ» в сторону поленницы…

И мы опять бросаемся искать следы пуль…

Эта стрельба для нашего развлечения запомнилась мне очень хорошо. Отец пробыл у нас в Бугульме всего несколько дней, отпуск у него был совсем короткий.

А потом жизнь опять вошла в свою колею: мама — в театре, Алеша — в школе…

Помню, по выходным дням мама пекла нам пироги с картошкой — неземное лакомство!

В Бугульме мы сменили несколько квартир. Одна из них запомнилась особенно. Там была бодливая корова. Нрав у нее был весьма суровый, даже хозяева выходили по нужде во двор,

вооружившись вилами. И вот эта корова принесла приплод. Теленка, как водится в деревнях, на самое первое время поместили в доме за печкой. Там ему отгородили загончик, пол устелили соломой. Меня, пятилетнего, это привело в совершеннейший восторг. Я целыми днями от теленка не отходил гладил его, целовал…

И это блаженство продолжалось недели две. А потом явились покупатели. И я услышал их разговор с хозяйкой. В припадке отчаянья я бесстрашно выскочил во двор и закричал:

— Корова! Корова! Вашего теленка хотят продавать!

II

Из-под газовой плиты медленно и важно выползает небольшая черепаха.

Мы стоим на кухне и смотрим на нее. Стою я, маленький брат Борис, величественная няня Мария Тимофеевна и щупленькая Оля, домработница.

Мы наконец-то вернулись из Бугульмы на Ордынку.

Самого возвращения я вовсе не помню — как мы ехали, в каком вагоне, как добирались с вокзала домой. А Мария Тимофеевна и Оля жили на Ордынке всю войну. Собственно, она еще и не кончилась — мы вернулись в мае сорок четвертого.

Про черепаху эту нам было доложено, что она оказалась весьма разумной тварью — при воздушной тревоге немедленно пряталась под газовую плиту.

Вот тут вспоминается мне впервые сама наша квартира. Особенно ясно встает перед глазами кабинет отца. Посреди светлой карельской мебели — ржавая железная буржуйка.

А за книжным шкафом досками отгороженное пространство. Там насыпана картошка, несколько мешков. Это сокровище, залог дальнейшего существования.

А вот и приметы военной Москвы.

Нищие, по большей части инвалиды, калеки. Целая толпа их, вернее — шеренга возле угловой булочной. А хлеб там продают по карточкам, он весь разрезан на куски и почти при каждом — маленький довесок.

А наискосок от булочной на противоположной стороне Ордынки совершенно разрушенный дом — прямое попадание бомбы. Стоять остался только угол здания, торчит эдаким обломанным зубом…

(Лет через пятнадцать тут построят громаду атомного министерства.)

Рынок за Пятницкой улицей. Там торгуют по большей части все теми же кусками нарезанного хлеба.

А еще продается соблазнительное лакомство — подсолнечный жмых…

А по самой Пятницкой катят один за другим трамваи. Они звенят, громыхают…

Мы, мальчишки, кладем на рельсы патроны, и они оглушительно рвутся под стальными колесами. Патронов этих у нас сколько угодно, их привозят ребятам демобилизованные отцы.

Брат Боря с топотом удирает от меня в прихожую, я бегу за

ним, мы оба хохочем…

Из кухни появляется Мария Тимофеевна, она ловит меня за руку.

— Тише, тише, — вполголоса говорит няня. — Бабушка болеет…

И она уводит нас с братом в детскую комнату.

Эта больная бабушка появилась совсем недавно. Мы никогда ее не видели, мы даже не слышали о ней. У нас уже есть бабушка, папина мама, Евгения Михайловна, — ласковая, говорливая, она была с нами в Бугульме. А эту, Нину Васильевну, бледную, изможденную, едва живую, мама привезла из какого-то Бузулука. Ее водворили в маленькую, «Алешину», комнату, там сразу же появились лекарства и специфический медицинский запах…

Бабка наша со стороны матери Нина (Антонина) Васильевна Нарбекова была в молодости довольно видным членом эсеровской партии. По профессии она была зубной врач и жила со своим семейством в собственном доме на главной улице во Владимире. (Особняк этот и по сию пору там стоит.) После революции она, разумеется, никакой политической деятельностью не занималась, но в городе хорошо помнили ее эсеровское прошлое.

Отец мой, когда женился на нашей матери, настоятельно советовал своей теще уехать куда-нибудь из Владимира, он-то прекрасно понимал, что добром дело не кончится. Но как это вдруг бросить дом, знакомства, практику?

Разумеется, в тридцать седьмом Нину Васильевну арестовали. Деда Антона Александровича Ольшевского — тоже. Но его мучения окончились сравнительно скоро. Он был болен чахоткой. А по натуре был вспыльчивым и резким, то и дело кричал свое любимое: «Ко псам!»

На одном из первых же допросов следователь НКВД свалил его ударом кулака и топтал ногами. После этого у деда началось легочное кровотечение, и он скончался в тюремной больнице.

А Нина Васильевна как «враг народа» прошла тюрьмы и лагеря, и только в конце войны ее «сактировали», выпустили на свободу безнадежно больную, с запущенным раком желудка.

Но тут ее мытарства не кончились. Некоторое время Нина Васильевна прожила у снохи, жены моего дяди Анатолия Антоновича Ольшевского, в Бузулуке. А когда мама взяла ее в Москву, по существу, привезла умирать, выяснилось, что прописать ее на Ордынке невозможно. Ей, «сактированной з/к», полагалось подыхать где-нибудь неподалеку от зоны, а вовсе не в «столице нашей Родины».

И тут неоценимую услугу оказала приятельница мамы, жена

писателя Льва Никулина — Екатерина Ивановна. Она с юности была знакома со всесильным тогда Абакумовым, кажется, училась с ним в одной школе. Она взяла у мамы паспорт Нины Васильевны и через несколько дней вернула его. В документе стоял штамп о прописке. Этого благодеяния наша мать не забыла до самой смерти.

В восьмидесятых годах, когда маме было за семьдесят, я спросил, кто был ее крестным отцом.

Дело происходило на Ордынке, в столовой, где присутствовали еще несколько человек. На мой вопрос мама спокойно и серьезно ответила:

— Фрунзе.

Оказывается, этот деятель, прежде чем стать эсдеком, был эсером и в то время был дружен с нашей бабкой Ниной Васильевной. А когда в 1908 году у нее родилась дочь, Фрунзе стал ее восприемником от купели.

Бабушка Евгения Михайловна стоит в прихожей, она только что вошла и зовет нас своим слащавым голоском:

— Борюнчик!.. Мишунчик!..

Мы с братом подбегаем к ней, и она торжественно вручает нам по мандарину.

Маленький Боря осторожно принимает невиданный плод и шепотом произносит:

— Какая красивая репа!..

Учительница Полина Семеновна расхаживает между рядами низеньких парт и диктует нам из букваря:

— «Ма-ша ест ка-шу»… Написали?.. «Ма-ша ест ка-шу». Точка. С большой буквы: «Хо-ро-ша ка-ша»…

Учиться я начал осенью сорок четвертого, в год возвращения из Бугульмы. Первая моя школа помещалась тут же на Ордынке, в соседнем доме. Все дети были оборвыши и заморыши и все постоянно хотели есть. А в классе нас было сорок с лишним человек.

Школу я сразу же и люто возненавидел на всю жизнь. Класс был первым в моей жизни стадом, или, по-советски, коллективом. Я никогда не был слабейшим, надо мною никогда не измывались, и дрался я со всеми наравне. Но опасность всегда ощущалась: вдруг вся эта гогочущая свора набросится и на тебя? хватит ли тогда сил и характера, чтобы противостать им?..

Чтобы не портить отношения с родителями и избегать учительских придирок, двоек я старался не получать, но и к хорошим отметкам отнюдь не стремился.

Самая большая радость тех лет — начало каникул. Самое большое горе — их окончание, приближение учебного года.

На открытой веранде сидит по пояс голый — в одних трусах — человек с огромной бородой. Он стучит на пишущей машинке. Это знаменитый партизан и писатель Петр Вершигора. А веранда — часть волошинского дома в Коктебеле.

Я впервые попал в Крым летом сорок шестого года. Мне вспоминается совершенно пустой пляж, у моря ничего нет, кроме литфондовского дома, его невысоких строений. Коктебель вообще был почти безлюден.

Под Кара-Дагом в камнях я нашел ржавый немецкий штык-кинжал. А в углу бухты под зданием электрической станции на волнах покачивалась мина-«рогулька».

Мины были и на холмах. Время от времени слышался взрыв, и это означало, что на мину наступила одна из коров местного стада. И тогда бабы с сумками бежали, чтобы подбирать куски окровавленного мяса…

Деревянная лестница, которая ведет на второй этаж волошинского дома. Под ней стоит женщина в чалме и держит в руках куклу. Настоящую театральную куклу. Это был матрос в тельняшке, он двигался и гримасничал…

Так я впервые увидел Наталью Алексеевну Северцову.

III

На роскошном пушистом ковре распластана фигура в темном костюме. Это классик советской драматургии Николай Погодин. Над ним стоит генерал в кителе и в штанах с лампасами, это Крюков, муж певицы Руслановой. Он производит шутливую экзекуцию, бьет по мягкому месту веником вдребезги пьяного Погодина.

А присутствующие — Русланова и мои родители — заливаются веселым смехом…

Мы в гостях, в сказочно богатой руслановской квартире. Над ковром сияет хрустальная люстра, мебель вся карельской березы… А на диване — предмет нашего с братом Борисом восхищения и любопытства: шкура настоящего тигра. Пасть оскалена, стеклянные глаза сверкают…

Мы едем в просторном трофейном автомобиле. За рулем водитель в военной форме. Генерал Крюков, он был кавалеристом, везет нас на скачки…

Лошади мне вовсе не запомнились, зато запомнился Буденный в маршальской форме и с легендарными усами…

После войны вплоть до самого ареста генерал Владимир Викторович Крюков занимал должность начальника Кавалерийской военной академии (тогда еще была и такая). Он рассказывал о трагикомическом происшествии, довольно характерном для тех голодных лет. Солдат, стоявший на дежурстве в проходной академии, остановил официантку из офицерской столовой и уличил ее в том, что она пыталась вынести килограмм топленого масла, которое было спрятано у нее между двумя бюстгальтерами.

Об этом происшествии было доложено начальнику академии, и Крюков решил поглядеть на этого бдительного стража. Когда солдат явился, генерал поблагодарил его за усердие, а потом спросил:

— А как же ты заметил, что она несет это масло?

— Так что, товарищ генерал, когда она на работу шла, титьки вроде бы у нее поменьше были…

С Лидией Андреевной Руслановой у моих родителей были очень близкие отношения. Настолько близкие, что, освободившись из заключения, она и ее муж В. В. Крюков приехали к нам на Ордынку и первые недели жили в нашей с братом так называемой детской комнате.

В свое время кто-то, скорее всего сами «компетентные органы», пустил слух, что Русланову и Крюкова посадили за

мародерство. На самом же деле их арест часть кампании, которую Берия, а может быть, и сам Сталин вели против Жукова, потому что Крюков был одним из самых приближенных к маршалу генералов. Об этом свидетельствует и само их освобождение. Жуков добился этого сразу же после падения Берии. Русланова и ее муж появились на Ордынке летом 1953 года, когда ни о какой реабилитации никто даже и не мечтал.

Сначала вернулась Лидия Андреевна. Исхудавшая, в темном платье, которое буквально висело на ней. Самые первые дни она не только не пела, но и говорила почти шепотом. Если кто-нибудь из нас ненароком повышал голос, она умоляла:

— Тише… Тише…

Почти весь свой срок она просидела в общей камере печально известного Владимирского централа.

И только через несколько недель она стала потихонечку, про себя, напевать.

С ее имени был сейчас же снят запрет, и впервые после длительной паузы ее песни зазвучали по радио.

— Да, — говорили москвичи, — не тот уже у Руслановой голос…

А мы на Ордынке только посмеивались, ведь все записи были те же, старые…

Я запомнил одну историю, которую Русланова привезла из Владимирской тюрьмы. Там с ней в одной камере сидела тихая и кроткая, как белая мышка, старушка-монахиня. А срок она получила за террор. До тюрьмы она жила в каком-то городке вместе с подругой, тоже монахиней. Они занимали небольшую квартирку в двухэтажном каменном доме. Как-то собрались эти старушки солить огурцы или квасить капусту. Будущая узница пошла в храм ко всенощной, а подруга осталась дома, надо было запарить кадку. Способ этого запаривания таков: в полную кадку воды бросают большой кусок раскаленного железа, вода закипает — и деревянный сосуд готов к употреблению. На беду свою, старая монахиня нашла где-то оставшуюся после войны противотанковую гранату и приняла ее за простую гирю. И эту самую «гирю» она положила в топку печи, чтобы раскалить докрасна. Последовал взрыв, обрушилась часть дома, и сама эта старушка погибла. А подруга ее по возвращении из храма была арестована и получила срок за террористический акт.

Генерал Крюков был третьим мужем Руслановой. Вторым был известный конферансье Михаил Гаркави, а первым — какой-то чекист, который и привез ее в Москву из Саратова. Тут она стала выступать в концертах, и у нее начался роман с Гаркави, который, надо сказать, смолоду отличался необычайной тучностью.

Русланова вспоминала, что в подъезде того дома, где у них с первым мужем была квартира, жила сумасшедшая женщина. По утрам за чекистом приезжал служебный автомобиль, и пока он с портфелем шел к машине, соседка, уперев руки в боки, говорила ему нараспев:

— Коммунист, коммунист, а у твоей жены любовник — то-о-лстый!..

До войны, да и некоторое время после, ни у одного артиста в стране не было такой славы, такой невероятной популярности, как у Лидии Руслановой. Конферансье Лев Миров мне рассказывал, как в тридцатых годах они ездили с концертами в Серпухов, и там было объявлено, что будет выступать Русланова. Была лютая зима, но из деревень на санях съехались мужики, они жгли костры, грелись и ждали возможности купить билеты…

Уже в пятидесятых годах моя мать была в командировке в Иркутске и там встретилась с Руслановой. Мама пошла с ней на концерт, а когда они возвращались в гостиницу, толпа восторженных поклонников певицы подхватила автомобиль (это была «Победа») и понесла ее по улицам на руках…

Вот еще один запомнившийся мне рассказ Льва Мирова. Если в концерте, который он вел со своим тогдашним партнером Евсеем Дарским, участвовала Русланова, она непременно с кем-нибудь за кулисами ссорилась. Чаще всего именно с ним, Мировым. То она требовала, чтобы ее выпустили на сцену раньше срока, то, наоборот, позже, то предъявляла еще какие-нибудь претензии… И всегда это оканчивалось скандалом и криком…

Как-то Миров пожаловался на это Дарскому, и тот, как более опытный, объяснил партнеру:

— Русланова таким образом настраивается на выступление. Ссора для нее вроде разминки.

И вот Миров с Дарским, предварительно сговорившись с прочими участниками концерта, поставили своеобразный опыт. Когда приблизился момент выхода Руслановой на сцену, все до одного спрятались и из укрытий наблюдали за певицей. Она походила по комнатам, поискала людей, но — тщетно… Тогда, проходя мимо колонны, она как бы ненароком задела ее плечом и буквально взревела:

— Колонн тут понаставили!!!

Нрав у нее вообще был весьма крутой. В тридцатые годы, задолго до войны, ее пригласили выступить на приеме в Кремле.

После пения подозвали к столу, где восседали члены Политбюро.

— Садитесь, — говорят, — угощайтесь.

— Я-то сыта, — отвечала Русланова, — вы вот родственников

моих накормите в Саратове. Голодают.

— Рэ-чистая, — произнес Сталин.

С тех пор ее в Кремль никогда не приглашали.

Приятель и сосед Руслановой по Лаврушинскому писатель Лев Никулин иногда обращался к ней с шутливой фразой:

— Раздай все мне и иди в монастырь.

Там действительно было что раздавать. Бриллианты, картины, посуда, мебель…

Моя мама вспоминала, что старинный рояль, стоявший среди прочей роскошной обстановки, не мог издать ни единого звука, ибо под его крышкой лежали пачки денег.

В гости к Руслановой пришел эстрадный актер и знаменитый коллекционер Н. П. Смирнов-Сокольский. Певица продемонстрировала ему только что купленный ею антикварный письменный стол чуть ли не из дворцового имущества.

— Видал, Колька, какой я себе стол отхватила?

— Да, — сказал Сокольский, — стол хорош… Только что ты на нем будешь писать? «Зы кан-цер пы-лу-чи-ла»?

И еще одно мое детское воспоминание…

Трехэтажный кирпичный дом с портиком и колоннами… И это все еще не оштукатурено, идет стройка…

Это Баковка, под Москвою, строят здесь дачу для Руслановой и генерала Крюкова.

А мы с братом Борисом смотрим на двоих рабочих, которые несут носилки с кирпичами. У них мирный и покорный вид, а мы глядим на них с любопытством и ужасом. Ведь это — пленные немцы, фашисты…

IV

Я вхожу в кабинет отца. В комнате никого нет.

Я приближаюсь к овальному столику, на котором стоит большая трофейная пишущая машинка «мерседес». В нее заправлен лист бумаги.

Я читаю слово, которое повторяется на странице много раз: «Ко-вер-ный»… Что это значит — «коверный»?.. Может быть, тут ошибка, опечатка? Наверное, надо печатать «коварный»…

«Коверный», я это узнал много позже, означало «коверный клоун», а заложенный в машинку лист — часть сочиняемой клоунады для цирка. Этот коверный должен был на манеже произносить слова и выделывать трюки, изобретаемые моим отцом…

Ардов стал работать для печати с середины двадцатых годов. Начал он с театральных рецензий, потом принялся сочинять фельетоны и юмористические рассказы. Затем он стал соавтором Льва Никулина, писателя уже сложившегося, они вдвоем написали несколько комедий. Помню названия двух пьес — «Статья 114» и «Таракановщина». Запомнился мне и краткий диалог, который звучал за сценой в одной из пьес Ардова и Никулина:

«— Извозчик! На улицу Проклятия убийцам Розы Люксембург и Карла Либкнехта!

— А! На Проклятую?.. Полтинничек положим, барин».

К тридцатым годам Ардов стал известным юмористом, регулярно выпускал сборники рассказов и фельетонов, дружил с Зощенко, с Ильфом и Петровым. Перед войной в Московском театре сатиры шла его пьеса «Мелкие козыри», и он стал вполне преуспевающим советским писателем. На Ордынке появилась мебель карельской березы и красного дерева, был даже небольшой кабинетный рояль.

Я как-то спросил отца:

— А ты был знаком с Горьким?

— Нет, — отвечал Ардов, — я его боялся… — И в ответ на мое недоумение объяснил: — Когда Горький вернулся из Италии, Сталин сделал распоряжение, чтобы все его просьбы и пожелания исполнялись неукоснительно. Я полагаю, сам Горький не вполне сознавал свое безграничное могущество. Он по-прежнему вел себя как истинный русский интеллигент, открыто заявлял о симпатиях и антипатиях… Так, например, без его вмешательства не мог бы быть напечатан «Золотой теленок» Ильфа и Петрова. Книгу практически уже запретили, но Горький просил наркома Бубнова

напечатать роман, и тот не посмел ослушаться… Но с такой же легкостью он мог и погубить человека. Стоило ему дурно отозваться о сочинениях какого-нибудь литератора — и все, ты погиб, ты уже не сможешь печататься. А то и в тюрьму угодишь… Вот почему я боялся с ним знакомиться, даже попадаться ему на глаза…

После войны на Ордынке еще с год продолжалось относительное благоденствие. Весьма относительное, если принять во внимание всеобщую нищету и голод тех лет.

А потом произошла катастрофа: вышло постановление ЦК «О журналах „Звезда“ и „Ленинград“». В самом постановлении да и в докладе Жданова имя Ардова не упоминается, но изничтожать принялись не только Зощенко, но и вообще всех сатириков и юмористов. На несколько лет Ардова перестали печатать совершенно.

Вот тогда-то исчезли из нашей квартиры и кабинетный рояль, и почти все ценные книги, например собрание сочинений Льва Толстого.

Кормился, да и нас всех кормил, Ардов тем, что читал свои смешные рассказы в жалких загородных клубах, а еще писал репертуар для артистов эстрады и цирка.

На стене, обитой темно-красным шелком, висят большие фотографические портреты. Величественный старик в чалме, клоун в колпаке и с размалеванным лицом и еще какие-то неизвестные мне люди. Но зато там есть фотография человека в смешной шляпе и с усиками: это самый лучший артист на свете, обожаемый мною Карандаш!

Портреты эти висели в маленьком фойе при директорской ложе в цирке на Цветном бульваре. А еще там стоял небольшой столик с белой скатертью, а около него находилась приветливая и услужливая женщина, которая продавала бутерброды, пирожные и откупоривала нам бутылки с лимонадом…

Ах, как я в детстве любил цирк!.. Насколько театр мне был всегда отвратителен своей изначальной фальшью, настолько цирк пленял своей естественностью. Лошадь так лошадь, силач так силач!.. А в этой тягомотной «Синей птице» — уродливые псевдодети, а в клетке — никакая не птица, а чучело…

Директор нашей школы стоит в вестибюле возле дверей своего кабинета. Он в коричневом мятом костюме и с неопрятной шевелюрой. За сильную кривизну ног директор получил прозвище Колёса. (Иногда это произносится и в единственном числе — Колёс.) Он не выговаривает, как-то проглатывает буквы «р» и «л», и по этой причине каждый второй ученик с успехом имитирует его речь. Пронзительный взгляд директора

выхватывает из толпы снующих детей мою фигурку, и он властным жестом подзывает меня к себе. Колёс слегка склоняется надо мной и говорит:

— Мама в шко-е бу-а?.. Почему не бу-а?.. Кто тебе учиться мешает?.. Мы тебе мешаем?.. Почему ты мо-учишь?.. А?..

Вспоминаю учителей своих, по большей части довольно жалких. Классная руководительница Наталия Дмитриевна. По причине все той же кривизны ног она носила прозвище Плоскодонка… А историчка Антонина Георгиевна была к тому же и парторг школы. В пятьдесят четвертом году она нам говорила:

— В связи с Берием…

Отец заглядывает в детскую комнату.

— Зайди ко мне в кабинет, — говорит он, и в голосе его мне слышится некий подвох…

Этому предшествовало нечто вроде продолжительного нашего с ним спора. Мне было лет двенадцать, и он уже был слегка озабочен будущей моей профессией. Тем паче что я никаких определенных склонностей не проявлял, да и учился неважнецки. И тут вдруг я решительно объявил ему, что желаю стать биржевым маклером. В 1950 году в Москве это звучало более чем фантастически. Да к тому же Ардова коробила и сама низменность устремлений сына. А я, как назло, бессмысленно твердил:

— Хочу быть биржевым маклером, больше никем.

И вот я вхожу в кабинет отца.

Там сидит гость — невысокий плотный человек с лысой головою.

— Познакомься, — говорит отец. — Это Георгий Александрович Амурский. Теперь он конферансье, а до революции был поверенным Путилова в делах Санкт-Петербургской фондовой биржи… Мой сын, — обращается он к гостю, твердит, что хочет стать биржевым маклером…

— Деточка ты моя! — Амурский всплеснул руками. — Дорогой ты мой! Да ведь интересней этого ничего не может быть на свете! Вот ты представь себе: акции падают, а я в это время…

И он пустился в восторженные воспоминания.

Последнее, что всплывает в памяти, — сконфуженное лицо отца, выражение, которое я видел нечасто.

И опять я уныло плетусь за директором школы.

Меня только что выгнали с урока, и Колёса поймал меня в пустом коридоре. Теперь он ведет меня в свой кабинет, мы с ним спускаемся по лестнице.

Он усаживается за свой стол, а я остаюсь стоять посреди небольшой комнаты. Колёса раздумчиво смотрит на меня и

говорит:

— Зачем ты мне нужен?.. П-о-гу-й-щик, отстающий, ху-и-ганствующий э-э-мент…

И ведь все это сущая правда.

Году в пятьдесят втором отвращение мое к школе несколько поуменьшилось. Это произошло оттого, что в нашем классе сбилась небольшая компания учеников, которые по своему развитию превосходили прочих, а потому верховодили. И вот решили мы учредить нелегальный журнал. Идея всем очень понравилась. Придумали название — «Голос из-под парты», собирались уже сочинять заметки. Я поделился этой новостью с домашними. После долгой паузы заговорил отец. Он довольно резко, почти без обиняков объяснил мне, в какой стране мы живем и чем эта затея может кончиться не только для нас, но и для наших родителей.

Наутро я шел в школу в большом смущении. Я решил отказаться от участия в журнале и уговорить друзей вообще бросить эту затею. Но истинную причину этого решения мне бы не хотелось открывать в классе…

Но, по счастию, все прошло очень гладко. Никто из моих товарищей не произнес о журнале ни слова, судя по всему, подобные разговоры с родителями произошли у каждого из нас.

V

Часов десять вечера. Мы с братом Борисом пьем чай, сейчас нас отправят спать. А нам так этого не хочется…

На другой стороне того же овального стола, на котором стоят наши чашки, идет карточная игра. Это ежевечернее на Ордынке «шестьдесят шесть». Играют отец, он сидит на своем кресле спиною к окну, и мама — она на диване, а рядом с нею — Ахматова.

— Так, — произносит отец, он тасует колоду. — Маз будет?

— Пять рублей, — произносит Ахматова.

Отец сдает карты, и начинается новая игра.

Довоенных приездов Ахматовой на Ордынку я не помню. Смутно вспоминаю ее появление в сорок шестом году — весною и осенью, уже после постановления, ее тогда мама привезла из Ленинграда. Но начиная с пятидесятого года Анна Андреевна жила у нас на Ордынке едва ли не больше, нежели в Ленинграде. Сначала тянулось следствие по делу сына, он сидел в Лефортовской тюрьме. А затем этого требовала и работа — Ахматовой давали стихотворные переводы именно в московских издательствах.

За вечерними картами обыкновенно возникала забавная игра. В ней Ардов изображал зятя-грузина, а Анна Андреевна — тещу. Мама фигурировала в игре как дочь Ахматовой. В ответ на какой-нибудь мамин неловкий карточный ход отец говорил Анне Андреевне с сильным акцентом:

— Ви мэна парастытэ, мама, но я удывляюсь ваший дочэры…

В свое время отец придумал Ахматовой и такое семейное прозвище — «теща гонорис кауза».

Иногда свои шутливые упреки Ардов преподносил Анне Андреевне в манере типичного советского оратора:

— И прав был товарищ Ж., когда он нам указывал…

(Имелся в виду Жданов со своим докладом.)

За чаем на Ордынке, если вдруг оказывалось, что потерялся какой-нибудь мелкий предмет, отец обычно говорил шутя:

— Граждане, прошу не расходиться — у меня пропала ложка.

Анна Андреевна, которой это много раз случалось слышать, однажды заметила:

— Как часто мне приходится не расходиться.

Ардов рассказал, что в бюро изобретений до сих пор висят такие объявления: «Проекты перпетуум-мобиле к рассмотрению не принимаются» (ибо «вечные двигатели» все несут и несут).

— Вот это и есть перпетуум-мобиле, — говорит Ахматова.

Ардов очень любил ходить по магазинам на Пятницкой улице. Он знакомился с продавцами, дарил им свои книжечки, словом, был в этих лавках своим человеком. При этом особенную слабость он питал к бракованным и уцененным предметам. И вот несколько раз он приносил с Пятницкой подпорченные, давленые конфеты. Однажды, когда он принес очередную порцию и объявил, что конфеты опять давленые, Анна Андреевна учтиво осведомилась:

— Их хоть при вас давят?

Ахматова иногда вспоминала, как еще до войны, в возрасте двух с лишним лет, я заходил к ней в маленькую комнату, тянулся к черным бусам, которые она тогда носила, и говорил:

— Бусики, бусики…

И эти «бусики, бусики» были чем-то вроде моего детского прозвища.

Я сижу за отцовским письменным столом. Передо мною небольшая книга в голубом коленкоровом переплете. Это «Четки», я переписываю стихи в тетрадь…

(Мне было лет тринадцать, когда я решил прочитать, что же такое пишет Ахматова. Почему, собственно, отец, мать и все, кто к нам приходит, относятся к ней по-особенному.

Ее стихи произвели на меня такое впечатление, что в первый же вечер, когда родители куда-то ушли, я пошел в кабинет, достал из маленького шкафчика «Четки» и сел переписывать.)

Я слышу, как распахивается дверь, я поворачиваю голову… И к ужасу своему, к смущению, вижу стоящую на пороге Ахматову.

— Ну вот, — говорит она, — Бусики-бусики, а уже переписывает мои стихи.

Я вхожу в столовую в пальто. Я беру со стола большой конверт. Мне надо поехать в Союз писателей и передать письмо для секретаря Союза А. А. Суркова. Это поручение Ахматовой.

Я уже поворачиваюсь, чтобы идти, но тут мне в голову приходит забавная мысль. Я говорю:

— А вдруг Сурков поступит со мною, как Грозный с Василием Шибановым, вонзит мне в ногу жезл, обопрется и прикажет читать вслух?

Шутка всем, а в особенности Анне Андреевне, нравится.

Так меня окрестили Шибановым.

С той поры Анна Андреевна часто называла меня Василий. В особенности если я куда-нибудь ее сопровождал или оказывал разного рода мелкие услуги.

Почти все подаренные мне книги надписаны — «Шибанову». А на газетной вырезке, где напечатаны ее переводы из древнеегипетских писцов, Анна Андреевна начертала:

«Самому Шибанову — смиренный переводчик».

Когда Ахматовой исполнилось семьдесят пять лет, я дал в Ленинград телеграмму без подписи: «Но слово его все едино». Домочадцы Анны Андреевны были озадачены. Моя мать, которая там присутствовала, сказала:

— Дайте телеграмму Анне Андреевне.

Ахматова прочла и докончила:

— «Он славит свого господина». Это телеграмма от Миши.

Ахматова смотрит на меня с легким укором и полушутя произносит:

— Ребен-ык! Разве так я тебя воспитывала?

И мне и брату Борису приходилось это слышать частенько.

Она воспитывала нас в самом прямом смысле этого слова. Например, с раннего детства запрещала нам держать локти на столе (вспоминая при этом свою гувернантку, которая в таких случаях пребольно ударяла руку локтем об стол). Она требовала, чтобы мы сидели за столом прямо, учила держать носовой платок во внутреннем кармане пиджака и говорила:

— Так носили петербургские франты.

Больше всего, конечно, Ахматова заботилась о том, чтобы мы с братом правильно говорили по-русски. Она запрещала нам употреблять глагол «кушать» в первом лице, учила говорить не «туфли», не «ботинки» или — упаси Бог! «полуботинки», а «башмаки», наглядно преподавала нам разницу между глаголами «одевать» и «надевать»:

— Одевать можно жену или ребенка, а пальто или башмаки надевают.

Сетуя на искажения русской речи, Ахматова вспоминала слова Игнатия Ивановского о деревне:

— Он сказал мне: «Там только и слышишь настоящий русский язык. Мужики говорят: „Нет, это не рядом, это — напротив“».

(Увы! — это замечание требует некоторых топографических разъяснений. На деревенской улице дома стоят обыкновенно в два ряда, или порядка. По этой причине, как бы ни был дом на той стороне улицы близок, про него никак нельзя сказать, что он рядом.)

Мы едем в такси по Мясницкой улице. Анна Андреевна сидит рядом с водителем. Я только что встретил ее на вокзале, она очередной раз приехала из Ленинграда.

Наша машина поравнялась с домом Корбюзье.

Ахматова поворачивает голову и говорит:

— Ну, что матушка Москва?

Ахматова и Петербург — тема известная, но вот Ахматова и

Москва — звучит не совсем обычно.

По своей «шибановской должности» я часто сопровождал Анну Андреевну в ее московских поездках и могу кое-что сообщить об ее отношении к белокаменной.

Она часто говаривала с грустью:

— Здесь было сорок сороков церквей и при каждой — кладбище.

Иногда прибавляла:

— А лучший звонарь был в Сретенском монастыре.

Если ехали по Пречистенке (Кропоткинской), Анна Андреевна почти всегда вспоминала историю первого переименования этой улицы. (Она только не помнила ее старого названия — Чертольская.)

— Здесь ехал царь Алексей Михайлович и спросил, как называется улица. Ему сказали какое-то неприличное название. Тогда он сказал: «В моей столице не может быть улицы с таким названием». И ее переименовали в Пречистенку.

Однажды в разговоре я употребил выражение «у Кировских ворот». Анна Андреевна поправила меня с возмущением:

— У Мясницких ворот! Какие у Кирова в Москве могут быть ворота?

Мясницкие ворота из-за близости ВХУТЕМАСа Ахматова считала самым «пастернаковским местом» в Москве. Однажды она указала мне на статую Грибоедова, которая стоит за станцией метро, и произнесла:

— Здесь мог бы стоять памятник Пастернаку.

Узнав, что один мой приятель живет в Трехпрудном переулке, Анна Андреевна очень этим заинтересовалась, сказала, что Трехпрудный — «цветаевское место», и даже выразила желание как-нибудь туда поехать.

VI

Не помню уж, по какому поводу Ахматова проговорила однажды с оттенком августейшей гордости:

— Марина мне подарила Москву…

(Имелись в виду строчки Цветаевой:

Я дарю тебе свой колокольный град,
Ахматова! — и сердце свое в придачу.)

Однажды я сказал о Некрасове:

— Можно ли так игриво и беззаботно писать стихи об экзекуции:

Вчерашний день часу в шестом
Зашел я на Сенную.
Там били женщину кнутом
Крестьянку молодую…

На это Ахматова сказала мне серьезно и с упреком:

— А ты помнишь, что там дальше? — И сама закончила:

Ни звука из ее груди,
Лишь бич свистал, играя…
И Музе я сказал: — Гляди!
Сестра твоя родная!

(Я тогда еще не знал ее строчек:

Кому и когда говорила,
Зачем от людей не таю,
Что каторга сына сгноила,
Что Музу засекли мою.)

Помню, Ахматова говорит о пристрастии Достоевского описывать публичные скандалы:

— У Федора Михайловича так. Сначала у дверей стоит швейцар с булавой, а в гостиной сидит генеральша. Потом начинается скандал, и уже невозможно разобрать, где швейцар, где булава, где генеральша…

Анна Андреевна иногда вспоминала надпись на пакете с тремя тысячами, которые Федор Павлович Карамазов приготовил для возлюбленной:

«Ангелу моему Грушеньке, коли захочет придти».

И приписка карандашом:

«И цыпленочку».

Бывало, показывая чье-нибудь неловкое письмо, обращенное к ней, Анна Андреевна говорила:

— Ну, это уже — «и цыпленочку».

В «Бедных людях», помнится, она обратила мое внимание на то место, где Достоевский устами Девушкина хвалит «Станционного смотрителя» и ругает «Шинель».

— Гоголя он даже не называет по имени, пишет что-то вроде «этот», вспоминала Анна Андреевна.

Сама Ахматова Гоголя очень любила и шутя называла хохлом. «Хохлацкую» сущность великого русского писателя, которую он сохранил до конца своих дней, Анна Андреевна доказывала очень хитроумно. Она приводила фразу с первой страницы «Мертвых душ», где описывается въезд Чичикова в город Н.:

«Въезд его не произвел в городе совершенно никакого шума и не был сопровожден ничем особенным; только два русские мужика, стоявшие у дверей кабака против гостиницы, сделали кое-какие замечания, относившиеся, впрочем, более к экипажу, чем к сидевшему в нем».

— Зачем здесь слово «русские»? — спрашивала Анна Андреевна. — Почему не написать просто: два мужика?

Однажды она добавила:

— А кого он ожидал здесь увидеть? Испанских грандов?

В «Мертвых душах» Ахматова особенно любила описание сада Плюшкина. Она говорила, что это отступление нагляднее всего доказывает, что Гоголь — поэт. Ведь никакой необходимости для сюжета в этом куске нет, и он не несет никакой смысловой нагрузки.

Про отступление о двух писателях она как-то сказала мне:

— Это он про себя и про Пушкина. Только Пушкин совсем не такой…

Одна приятельница моей матери, дама весьма недалекая, заявила Анне Андреевне, что считает Пушкина человеком нескромным, так как он написал «Памятник». Ахматова рассказывала об этом с возмущением:

— Я, конечно, объяснила ей, что «Памятник» написан, когда он читал о себе в журналах только ругань.

Однажды Ахматова рассказала мне о случае, происшедшем с

одной ее знакомой — сотрудницей библиотеки.

— К ней пришел истопник и спросил, действительно ли для того, чтобы найти книгу, надо знать не только ее название, но и кто написал. Она подтвердила. Тогда он сказал: «Очень жалко. Я читал такую хорошую книгу, а вот кто написал — не помню». Она на всякий случай спросила название. Он сказал: «Капитанская дочка».

В свое время я получил в подарок изданную в 1921 году книгу Анненского «Пушкин и Царское Село (Речь, произнесенная И. Ф. Анненским в бытность его директором Царскосельской мужской гимназии, 27 мая 1899 г., на пушкинском празднике в Китайском театре, в Царском Селе)». Я показал книжку Ахматовой. Она сказала:

— Я помню, как он это говорил.

Потом я обратил внимание Анны Андреевны на дивные строки из «Бориса Годунова», которые Иннокентий Федорович цитирует:

> Но детский лик царевича был ясен
> И свеж и тих, как будто усыпленный.

— Пушкин весь такой, — произнесла она и, отдавая мне растрепанную книжку, добавила:

— Только не переплетай заново, пусть останется так.

VII

В столовой на Ордынке утро. Анна Андреевна пьет свой «кофий» и разбирает корреспонденцию. Большая часть писем читателей начинается примерно так: «Вы, конечно, удивитесь, что вам пишет незнакомый человек…»

— Как они себе это представляют? — говорит Ахматова. — Мне пишут уже пятьдесят лет, и я всякий раз должна удивляться?

Одним из ее почитателей оказался некий адмирал. Письмо его было подписано: «Ваш адмирал Н. Н.». Прочитав это, Анна Андреевна говорит:

— Я чувствую себя королевой. У меня уже есть флот.

Примерно с пятьдесят третьего года, с тех пор как научился печатать на машинке, я стал выполнять при Анне Андреевне некоторые секретарские обязанности: переписывал стихи для публикаций, деловые письма… Впоследствии эту работу для Ахматовой стала делать Ника Николаевна Глен, а еще позднее Анатолий Генрихович Найман.

Я переписываю письмо. Когда текст напечатан, говорю:

— А в конце — «Ваша Ахматова»?

— Ни в коем случае! Я очень мало кому пишу «Ваша Ахматова».

Анна Андреевна диктует мне свои стихи.

— Вот это место непонятное, — вырывается у меня.

Она говорит, имея в виду Пастернака:

— Со мной и с Борисом произошло нечто обратное. Он вначале писал очень сложно, а теперь пишет абсолютно просто. А я — наоборот…

Я печатаю под ее диктовку:

Китайский ветер поет во мгле,
И все знакомо.

Тут Ахматова прерывается и простодушно говорит:

— Ох и достанется мне от Левы за «китайский ветер»…

(Л. Н. Гумилев называл себя доктором истории Востока).

Анна Ахматова прожила на свете семьдесят шесть лет. В течение двадцати последних я был ее собеседником, слушал царственную речь этой необыкновенной женщины.

— Я помню, как в начале века у нас говорили, что в Царском Селе очень полезно жить, потому что там радиоактивная земля…

Анна Андреевна уверяла, что с распространением

электричества у людей ухудшилось зрение. Она говорила:

— В юности я зажигала свечу в своей комнате, ложилась и читала на ночь. Если бы я вздумала зажечь две свечи, вошла бы моя мама и сказала: «Что за иллюминацию ты устроила?»

— Коля Гумилев говорил мне: «В Царском Селе я ругаю извозчиков и даже бью их, потому что тут их мало, они могут запомнить меня и рассказать обо мне друг другу. А в Петербурге их такое количество, что никакой надежды на это нет, и я отдаю себя в их власть».

— Когда вышла из печати моя первая книга, я очень смущалась, а Гумилев смеялся и читал мне:

Ретроградка иль жорж-зандка,
Все равно теперь ликуй!
Ты с приданым, гувернантка,
Плюй на все и торжествуй!

О жизни в имении Гумилевых Слепневе:

— На престольный праздник там непременно кого-нибудь убивали. Приезжал следователь, оставался обедать…

В разговоре о склонности великих русских писателей на вершине славы переходить от литературы к прямому проповедничеству Ахматова сказала:

— По-моему, это только у русских. Коля Гумилев называл это «пасти народы». Он говорил: «Аня, отрави меня собственной рукой, если я начну пасти народы».

Году в пятнадцатом в Петербурге в гости к Ахматовой пришли Георгий Адамович и Георгий Иванов. Они пожелали видеть сына Анны Андреевны и Николая Степановича. По приказу хозяйки няня привела нарядного и курчавого младенца. Он посмотрел на визитеров и спросил:

— Где живете, дураки?

Анна Андреевна любила рассказывать об одном пророчестве. В Петрограде сразу же после февральской революции они с приятельницей поехали кататься, кажется, на острова. Расплачиваясь с бородатым стариком извозчиком, дамы дали ему золотую монету. Тот взял ее, посмотрел и сказал:

— Не держать больше в руках золота ни нам, ни внукам нашим.

— Я встретила Мариэтту Шагинян. Она сказала мне: «Я уезжаю в Армению. Навсегда. Слишком изолгалось перо». Это было в двадцать втором году. Представляешь, что с этим пером сейчас?

— Демьян Бедный сказал мне: «Я бы считал вас первым

поэтом, если бы не считал им себя».

— В двадцать четвертом году, вернувшись с известных похорон, Осип (Мандельштам) сказал: «Я придумал пол-анекдота. Один еврей стоит на месте, а другой все время вокруг него бегает…»

— В тридцать восьмом году я ехала в метро с Борисом. Он мне сказал: «Вы знаете, я вчера написал стихи: „Скажите, милый Поль, вы изваяли властелина из пластмассы?“» Это неизвестная строчка Пастернака.

— В Ташкенте ко мне пришла Фаина (Раневская). Я лежала и читала. Она спросила: «Что вы читаете?» Я сказала: «Биографию Будды». «А у Будды была интересная биография?»

О Константине Симонове:

— Когда он пришел ко мне первый раз, то от застенчивости снял на лестнице орден. А когда через несколько лет пришел опять, он уже ничего не снимал…

— В Англии две религии. Одна обыкновенная, а другая такая: папа по вечерам читает Библию вслух, а негры (?) плачут.

— Корней (Чуковский) не был в Третьяковке сорок лет. Он посмотрел современный отдел, пришел домой и сказал: «Почему я не ослеп раньше?»

Уличив кого-нибудь в неграмотности, Ахматова говорила:

— Почему я должна все знать? Я — лирический поэт, я могу валяться в канаве.

— Гомера не было. Теперь это уже доказано. Все было совсем не так. «Илиаду» и «Одиссею» написал совершенно другой старик, тоже слепой…

Тогда, в пятидесятых годах, многие мужчины ходили так — из верхнего наружного кармана пиджака непременно торчали авторучка и гребенка.

Ахматова говорит:

— Когда я это вижу, мне всегда хочется спросить: «А где ваша зубная щетка?»

Вернувшись из очередной больницы, Анна Андреевна произносит:

— Теперь я поняла, что главная специальность всех баб — не жить с собственными мужьями. Каждая новая, как только приходит в палату, первым делом заявляет: «Ну, с мужем я уже давно не живу».

VIII

К Ахматовой всегда, а в особенности в последние годы, приходило множество визитеров. У нее могли встретиться самые неожиданные люди. Как-то Б. Л. Пастернак назвал это:

— Столкновение поездов на станции Ахматовка.

Шутка прочно вошла в обиход Ордынки. Впоследствии «столкновение поездов на станции» отпало, и Анна Андреевна за завтраком сообщала нам:

— Сегодня — большая Ахматовка.

Это означало, что у нее будет много гостей.

Прежде всего мне вспоминаются самые близкие и преданные ее друзья — Эмма Григорьевна Герштейн, Николай Иванович Харджиев, Мария Сергеевна Петровых, Лидия Корнеевна Чуковская, Любовь Давыдовна Большинцова…

Несколько особняком — Надежда Яковлевна Мандельштам. Пронзительный взгляд, крючковатый нос, вечно дымящаяся папироса в откинутой правой руке… Была в ней какая-то неустроенность, нарочитое неблагополучие… Являлась она в те годы нечасто.

А потом в памяти возникают и другие лица…

Серьезный и значительный Семен Израилевич Липкин.

Обаятельный и восторженный Дмитрий Николаевич Журавлев…

Несколько набыченный — сообразно фамилии — Юлиан Григорьевич Оксман.

Миниатюрный и манерный Виталий Яковлевич Виленкин…

Красивая и язвительная Наталия Александровна Роскина («Наташа плохая»)…

Сдержанная до застенчивости Татьяна Семеновна Айзенман…

Веселая и говорливая Наталия Иосифовна Ильина…

Умудренный от младых ногтей Вячеслав Всеволодович Иванов…

Молчаливый, знающий себе цену Борис Абрамович Слуцкий…

Так и слышу его голос, доносящийся из маленькой комнаты. Он нараспев читает Ахматовой стихи про тонущих в море лошадей и притесняемых на суше евреев…

Ахматова провожает гостя. Я тоже выхожу в переднюю, снимаю с вешалки пальто и хочу подать его.

Гость с испугом отстраняется от меня.

— Нет!.. Нет!.. Что вы!

Это — А. И. Солженицын. Он берет у меня из рук пальто и

надевает его сам.

— Я очень боюсь переменить психологию, — объясняет он Ахматовой и мне. По этой причине я стараюсь не ездить на такси… Я не могу видеть, как перед автомобилем разбегаются маленькие люди…

— Случилось, — говорю я, — что молодой, но уже очень известный поэт Твардовский был в гостях у академика — кораблестроителя Крылова. На прощание хозяин попытался подать ему пальто. Твардовский остановил его жестом. На это Крылов сказал: «Поверьте, молодой человек, у меня нет причин заискивать перед вами…»

— Да, да, — подтверждает Солженицын, — это было… Мне об этом сам Твардовский рассказывал…

В начале шестидесятых годов, в тогдашнее либеральное времечко, появилось на свет Европейское сообщество писателей. Среди привлеченных к этому делу была и М. И. Алигер — Алигерица, как ее обыкновенно называла Ахматова.

В один из своих визитов на Ордынку она довольно долго просидела наедине с Анной Андреевной, а потом удалилась. После ее ухода Ахматова рассказала за столом, что Алигерица приходила вербовать ее в Европейское сообщество. При этом Анна Андреевна со смехом повторила фразу своей гостьи:

— Она мне сказала: «Мы боремся с Ватиканом…»

Это позабавило всех, а Ардов не поленился и нарисовал для ордынского юмористического семейного альбома карикатуру, изображающую борьбу Алигер с Ватиканом. На рисунке был величественный папа в тиаре и со шпагой в руке, а против него выступала тщедушная фигурка Алигерицы.

К тому же времени относится появление в этом альбоме и другого подобного рисунка. М. И. Алигер ездила в Италию по делам сообщества. Кто-то принес на Ордынку итальянскую газету, где было написано примерно следующее: Данту было бы гораздо приятнее, если бы вместо его однофамилицы в Италию приехала бы его истинная сестра — Ахматова. И вот Ардов нарисовал нечто вроде медальона с двумя профилями — Данта и Алигерицы, оба увенчаны лаврами. Надпись гласила: «Поэты-лауреаты Маргарита и Данте Алигьеры».

Не тогда ли родились известные строки:

Те, кого и не звали, — в Италии,
Шлют с дороги прощальный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет.

Мы все сидим за завтраком. Анна Андреевна полушутя обращается ко мне и к брату:

— Мальчики, сегодня вечером ко мне придет академик Виноградов. Я прошу вас вести себя прилично.

В ответ я говорю:

— Мы встретим вашего академика гармонью и лихим матлотом. И еще споем ему частушки.

И мы с Борисом тут же за столом принимаемся сочинять эти частушки…

Одна из них оказалась удачнее прочих, и Анна Андреевна даже запомнила ее:

К нам приехал Виноградов
Виноградова не надо!
Выйду в поле, закричу:
— Мещанинова хочу!

Кстати, о частушках. Как-то брат Борис прочел Анне Андреевне такую:

Дура я, дура я,
Дура я проклятая!
У него четыре дуры,
А я дура пятая!

— Это похоже на мои стихи, — проговорила Ахматова.

Нарядный и важный Алексей Александрович Сурков, нарочито окая, говорит Анне Андреевне:

— Мы знаем вас как человека с огромным чувством национального достоинства…

1964 год, Сурков «инструктирует» ее перед поездкой на Сицилию для получения премии Таормино.

Поэт и литературный начальник А. А. Сурков был истинным благодетелем Ахматовой. Разумеется, благодеяния его не выходили и не могли выходить за пределы дозволенного. Он, например, был неизменным автором предисловий и составителем тех жалких сборничков, которые выходили у нее после смерти Сталина.

По этой причине, сколько я себя помню, на Ордынке все время были телефонные звонки от Суркова и к нему, разговоры с его секретаршей Еленой Аветовной и с женою Софьей Антоновной.

Однажды Ахматова довольно долго говорила по телефону с

супругой Суркова, а когда повесила трубку, произнесла:

— Это уже почти из «Ревизора» — Анна Андреевна и Софья Антоновна…

Как известно, Ахматова была делегатом Второго съезда писателей. Сурков читал там доклад и, по словам Анны Андреевны, сделал весьма характерную оговорку:

— Мы, советские писатели, работаем ради миллионов рублей… то есть ради миллионов людей!..

IX

— Сегодня придет Фаина и будет меня виноватить, — произносит Анна Андреевна…

Среди ее друзей Фаина Георгиевна Раневская стояла особняком, ибо принадлежала театру, миру, с которым Ахматова никак не была связана. Однако же дружба их, которая возникла во время войны в Ташкенте, продолжалась до самой смерти Анны Андреевны.

Настоящая фамилия Раневской была, если не ошибаюсь, Фельдман, и была она из семьи весьма и весьма состоятельной.

Помню, она говорила:

— Меня попросили написать автобиографию. Я начала так: «Я — дочь небогатого нефтепромышленника…»

В юности, после революции, Раневская очень бедствовала и как-то обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал:

— Дать дочери Фельдмана мало — я не могу. А много — у меня уже нет…

(Кстати, в своих воспоминаниях о Чехове Иван Бунин, к вящему удовольствию моему, ругательски ругает столь знаменитые и популярные пьесы Антона Павловича, в частности, за совершенное незнание дворянского быта. И мне было очень забавно прочесть там такое:

«Раневская, будто бы помещица и будто бы парижанка <…>

Раневская, Нина Заречная… Даже и это: подобные фамилии придумывают себе провинциальные актрисы».)

Насколько мне известно, в своей, актерской среде Фаина Раневская позволяла себе весьма крутые шутки и даже вполне непристойные выражения, но при Ахматовой она всегда держалась сообразно обществу.

Я даже вспоминаю и такое. Анна Андреевна послала меня с каким-то поручением к Раневской. Та приняла меня в одной из комнат своей квартиры и во время нашего разговора уселась под большим фотографическим портретом Ахматовой. Через некоторое время я заметил, что она, быть может, инстинктивно, повторяет позу Анны Андреевны, ту самую, что запечатлена на фотографии…

Ахматова любила и иногда повторяла шутки и короткие новеллы Раневской. Дословно помню такую фразу Анны Андреевны:

— Фаина говорит: «Моя домработница мне сказала: „Да, чтобы не забыть — в субботу конец света“».

На Ордынке имело хождение множество цитат из Раневской. Все это произносилось с южным, одесским акцентом.

— Ой, в вас волос густой!.. В вас воши есть?.. А шо вы обижаетесь?.. В кого их нет?.. А вы намажьте голову фотоженом, и они уси как одна сбегуть!

— Ой, в вас нежная кожа!.. Когда я была молодая, у меня тоже была нежная кожа… Я шла по улице, так люди висовывались с форточек и говорили: «Ось идеть иностранка».

Однажды в трамвае Раневскую узнала какая-то женщина, пришла в совершеннейший восторг, наговорила массу любезностей… Но тут, как назло, ей нужно было выходить, а потому она ухватила артистку за ладонь и сказала:

— Мысленно жму вашу руку.

Всплывает в памяти беспощадный отзыв Фаины Георгиевны об одной молодой женщине:

— У нее не лицо, а копыто…

В Театре Моссовета, где Раневская работала последние годы, у нее шла непрекращающаяся вражда с главным режиссером Ю. А. Завадским. И тут она давала волю своему острому языку.

Как-то она и прочие актеры ждали прихода Завадского на репетицию, он только что получил звание Героя Социалистического Труда.

После нескольких минут ожидания Раневская громко произнесла:

— Ну, где же наша Гертруда?

Надо сказать, Завадского Раневская пережила и, помнится, так говорила по поводу его кончины:

— Да, да, это очень печально… Но между нами говоря, он уже давным-давно умер.

Я поднимаю телефонную трубку.

— Можно попросить Виктора Ефимовича? — говорит далекий голос.

— Здравствуйте, Фаина Георгиевна, — говорю я. — Это Миша. Виктора Ефимовича нет дома…

— Вы знаете, — говорит Раневская, — он написал мне письмо о моем спектакле… А я ему ответила… И там я так неудачно выразилась… Я написала, что я люблю рожать. Я имела в виду творить, создавать что-то на сцене… А то ведь могут подумать, что рожать в прямом смысле слова…

— Все кончено, — говорю, — ваше письмо уже находится в Центральном архиве литературы и искусства. И теперь грядущие исследователи станут утверждать, что у вас было трое детей… И из них двое — от Завадского…

— Я кончаю разговор с ненавистью, — послышалось из

трубки…

Еще только раз в жизни я позволил себе пошутить с Раневской. Это было у нее дома. Я машинально взял со стола фотографию, на которой были две фигуры сама Фаина и Е. А. Фурцева, которая смотрела на актрису снизу вверх и очень преданно. На оборотной стороне снимка рукою Раневской было написано буквально следующее:

«**Е. А. Фурцева:** Как поживает ваша сестра?

Я: Она умерла…»

Повертевши фотографию в руке, я сказал:

— Фаина Георгиевна, а Фурцева на этом снимке играет лучше, чем вы…

Мой выпад она игнорировала и произнесла:

— Я очень, очень ей благодарна… Она так мне помогла. Когда приехала моя сестра из Парижа, Фурцева устроила ей прописку в моей квартире… Но она крайне невежественный человек… Я позвонила ей по телефону и говорю: «Екатерина Алексеевна, я не знаю, как вас благодарить… Вы — мой добрый гений…» А она мне отвечает: «Ну что вы! Какой же я — гений?.. Я скромный советский работник…»

X

В нашей столовой много людей. Они сидят на диване, на всех стульях и даже на табуретках, которые принесены с кухни.

За столом в некотором обособлении сидит седой красивый человек, который читает рукопись, аккуратно переворачивая страницы…

Мы с братом Борисом стоим в прихожей и смотрим на все это через раскрытую дверь…

И вдруг мы слышим такое:
Водилась крыса в погребке,
Питалась ветчиною,
Как Лютер с салом на брюшке

В два пальца толщиною.
Подсыпали ей мышьяку,
И впала тут она в тоску,
Как от любви несчастной…

Мы с Борисом начинаем безудержно хохотать.

Взрослые оборачиваются и начинают шикать на нас. Чтение прерывается, и человек за столом говорит:

— Это очень хорошо, что дети смеются… Сцена в погребке Ауэрбаха и должна быть смешной…

Борис Леонидович Пастернак читает на Ордынке свой перевод «Фауста».

А еще я помню в его чтении самое начало «Доктора Живаго» и стихи — «Огни заката догорали», «Я кончился, а ты жива», «Август», «Белой ночью»…

По поводу последнего стихотворения у Пастернака с Ахматовой произошел примечательный диалог. Там есть такие строчки:

Фонари, точно бабочки газовые,
Утро тронуло первою дрожью…

Анна Андреевна заметила:

— Во время белых ночей фонари никогда не горели.

Борис Леонидович подумал и сказал:

— Нет, горели…

Я помню, как он жаловался на то, что в журнале «Знамя» отвергли стихи «Ты значил все в моей судьбе». Там есть такая строчка:

Со мною люди без имен…

Так вот Вера Инбер в своем отзыве написала: «У нас нет людей без имен. Все советские люди имеют имя».

Тут я хочу дословно привести запись из небольшой тетрадочки, в которую Ардов некоторое время заносил слова Ахматовой и свои впечатления о ней:

«Рассказ Н. А. Ольшевской:

К нам пришел Борис Леонидович. Анна Андреевна ему впервые прочитала свое стихотворение, посвященное ему. Он стал хвалить стихи. И потом они оба стали разговаривать о чем-то. О чем, я не могла понять даже отдаленно. Как будто не по-русски говорили. Потом Пастернак ушел. И я спросила:

— Анна Андреевна, о чем вы говорили?

Она засмеялась и сказала:

— Как? Разве вы не поняли? Он просил, чтобы из моего стихотворения о нем я выбросила слово „лягушка“…

(Во второй редакции этой вещи „лягушки“ нет, Ахматова заменила ее словом „пространство“.)»

Мой младший брат в детстве презабавно перевирал слова. Например, булочную он называл «хлебушная»… Часто произносимая в доме фамилия Пастернак тоже далась Боре не сразу. Поначалу он говорил «Монастырев». Об этом рассказали самому Борису Леонидовичу. Реакция была такая:

— Да, да… Это так понятно… Па-стер-нак… Мо-на-стырь…

Как-то Борис Леонидович рассмешил Анну Андреевну и всех нас такой фразой:

— Я знаю, я — нам не нужен.

Вот еще история, связанная с ним, которая бытовала в доме моих родителей. До переезда на Ордынку наша семья года два жила в Лаврушинском переулке, в писательском доме, и в том же подъезде, что и Борис Леонидович. Когда я был грудным младенцем, примерно в таком же возрасте был сын Пастернака Леня. У моих родителей были специальные весы для взвешивания маленьких детей, и Борис Леонидович регулярно брал их, чтобы проверить вес Лени. На этой почве между поэтом и моим отцом произошло некоторое сближение, и как-то Пастернак попросил у Ардова почитать какую-нибудь его книгу. Отец дал соседу сборник своих юмористических рассказов. В следующий свой

приход за весами Борис Леонидович вернул книгу и сказал:

— Вы знаете, мне очень понравилось… Я думаю, вы могли бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе…

В пятидесятых годах Борис Леонидович часто бывал на Ордынке. Обычно эти визиты сопровождались многочисленными телефонными звонками. Он мог, например, позвонить и сказать:

— Анна Андреевна думает, что я приду через сорок минут, а я приду через пятьдесят…

Однажды он позвонил на другой день после визита и сказал:

— Вы знаете, Анна Андреевна, мне кажется, что вчера я слишком мало смеялся анекдотам Виктора Ефимовича…

Как-то после очередного подобного звонка мы с Ахматовой заговорили о великих русских поэтах двадцатого века. Она вдруг указала мне рукою на телефон и произнесла:

— Этот сумасшедший старик — тоже гений.

Иногда Борис Леонидович приходил к нам как-то странно одетый. На нем бывала поношенная кофта явно домашнего вида. Мы удивлялись этому. Анна Андреевна со свойственной ей проницательностью объяснила нам однажды:

— Все очень просто. Он не говорит Зине, что идет сюда, а объявляет, что хочет пройтись.

Я иду заснеженным замоскворецким переулком, а навстречу мне движется величественная и несколько отстраненная от уличной суеты фигура. Это Пастернак. Мне всегда казалось, что он движется как бы на вершок от земли…

— Здравствуйте, Борис Леонидович.

— А-а-а… — Он некоторое время узнает меня, как бы спускается с неба на землю. — А-а-а… Здравствуйте, здравствуйте… Что дома? Как Анна Андреевна? Как мама?.. Кланяйтесь, кланяйтесь им от меня…

И опять он двинулся, опять воспарил в заоблачные выси.

Я полагаю, здесь уместно привести нечто рассказанное мне Марией Сергеевной Петровых. Сравнительно скоро после смерти Ахматовой знакомая писательница показала Марии Сергеевне свои воспоминания. (Тут надо сказать, что Ахматова была твердо убеждена, что эта литературная дама — специально приставленный к ней соглядатай. Разумеется, сама писательница этого мнения знать не могла.) Так вот эта дама вспоминала, что в тот день, когда разразился скандал в связи с присуждением Борису Леонидовичу Нобелевской премии, она с утра, едва прочитав газеты, помчалась к Ахматовой, дабы спросить, что Анна Андреевна по этому поводу думает. Разумеется, Ахматова должна была счесть этот визит и сам вопрос отнюдь не случайными, и тем не менее она сказала:

— Поэт всегда прав.

Несомненно, этот ответ был рассчитан на передачу во все тогдашние инстанции.

Я стою на лестничной площадке перед дверью квартиры Пастернака. Звоню, довольно долго звоню, но мне не открывают…

У меня в руке небольшой сверток, в нем книжица. Анна Андреевна просила отнести ее и передать Борису Леонидовичу…

Наконец я слышу шаги в прихожей.

Дверь распахивается — и передо мною хозяин, по пояс голый и мокрый. Очевидно, я прервал его мытье…

— А-а-а, спасибо, спасибо, — говорит он, принимая сверток влажной рукою. Простите, я заставил вас ждать… Я был в ванной… Поклон Анне Андреевне и маме…

Дверь закрывается, и я опять один на лестнице.

А пока я шел до Лаврушинского, я заглянул в книжицу. Там рукою Ахматовой было написано: «To our first poet Boris Pasternak».

Мы — Ахматова, М. С. Петровых и я — сидим на деревянной больничной скамье. Все трое молчим. Мария Сергеевна и я не знаем, как начать… Мы пришли к Ахматовой в Боткинскую больницу, чтобы объявить ей о смерти Пастернака. Мы боимся, что весть о его кончине повлияет на течение ее собственной болезни…

Анна Андреевна расспрашивает нас о чем-то. Отвечаем мы односложно. Наконец она сама интересуется, какие вести из Переделкина.

Мария Сергеевна нежно гладит руку Ахматовой, глядя ей в глаза и приговаривая:

— Там плохо… Там очень плохо… Там совсем плохо…

— Он скончался? — тихо говорит Ахматова.

— Да, — отвечаем мы.

И тогда вместо ожидаемых проявлений отчаяния мы видим, как она истово крестится и произносит:

— Царствие ему небесное.

XI

На Ордынке завтрак. За столом не вполне понятное мне тягостное молчание. Отец читает юмористический журнал «Крокодил», а сам мрачнее тучи. Потом он молча передает журнал Ахматовой.

Анна Андреевна смотрит на страницу в течение нескольких секунд и кладет «Крокодил» на диван рядом с собою.

Завтрак окончился, все выходят из-за стола, я хватаю журнал и гляжу.

Страница так и стоит у меня перед глазами:

«Николай Грибачев. „Ощипанный джойнт“».

Я помню даже первую фразу:

«Плач стоит на реках Вавилонских, главная из которых — Гудзон». Это «памфлет» о «деле врачей-убийц».

Рискуя сорваться, я лезу по скользкой, обледеневшей крыше… Впереди и сзади меня еще человек двадцать таких же смельчаков. Теперь прыжок вниз, в подтаявший сугроб, — и мы почти у цели…

Это происходит 7 марта 1953 года. Крыша эта и двор расположены между Столешниковым и Камергерским переулками.

Все мы, в том числе и я с двумя приятелями, стремимся, минуя бесконечную очередь, попасть в Колонный зал и поглядеть на лежащего там мертвого Сталина.

Идея эта пришла в голову мне. В свои пятнадцать я сумел сообразить, что вполне реально пройти с той стороны, с которой движутся люди, уже побывавшие в Колонном зале.

Сказано — сделано. От площади Маяковского до Пушкинской оцепление было неплотным, и мы с приятелями пробрались без особенных усилий. От Пушкинской пришлось идти проходными дворами, и так добрались до Столешникова…

Мы примкнули к очереди почти у самой цели и через двадцать минут оказались там, куда тщетно рвались осатаневшие от горя несметные толпы.

В памяти осталась только пышная зелень, окружавшая гроб, да звуки траурной музыки…

Люди моего поколения помнят, как несколько дней подряд из всех репродукторов доносилась классика — симфоническая и фортепианная.

Скрипач Давид Ойстрах впоследствии вот что рассказывал одной нашей с ним общей знакомой. Пока гроб Сталина стоял в Колонном зале, они, лучшие исполнители, играли по очереди.

Там же они могли немного отдохнуть и подкрепиться. За занавеской стояли стулья, стол с бутербродами и чаем.

В какой-то момент за эту занавеску заглянул Хрущев — лицо небритое, усталое, но довольное. Оглядев сидевших там знаменитых музыкантов, он сказал вполголоса:

— Повеселей, ребятки!

И лысая голова исчезла.

И еще немного о музыкантах.

Кто-то из коллег увидел в те дни плачущую Е. Г. Гилельс и принялся ее утешать:

— Ну что вы так убиваетесь… У нас будут еще вожди. Ну, может быть, не такие, как Сталин…

— Да плевать мне на вашего Сталина, — отвечала она, — я плачу оттого, что Сергей Сергеевич Прокофьев умер…

Действительно, С. С. Прокофьев скончался в один день с тираном. В свое время композитор Андрей Волконский рассказывал мне, что ему и другим ученикам Сергея Сергеевича, тем, кто занимался похоронами его, досталось много хлопот.

И самое главное, Прокофьев жил на улице Горького, а туда из-за оцепления невозможно было подогнать похоронную машину. И вот ученики несколько кварталов несли на плечах гроб, и их горе никак не смешивалось с горем прочих людей, устремившихся к Колонному залу.

Десять часов вечера, но еще совсем светло. Мы с отцом идем по летней Москве, тут, в центре, толкотня, гомон толпы, гудки автомобилей…

Ардов впервые ведет меня, повзрослевшего, в ресторан «Арагви».

Швейцары почтительно приветствуют отца, и мы с ним спускаемся в малый зал.

Низкие своды, росписи художника Тоидзе…

(Я даже столик тот помню, за который нас усадили.)

Официант записывает заказ, почтительно наклонив голову.

Потом он исчезает, и слышно, как его голос повторяет все буфетчику и повару.

— Так… Два шашлычка, — доносится до нас, — повнимательней пойдет!..

Мы с отцом сидим за мраморным столиком. Перед нами — кружки с пивом, моченый горох, соленые сухарики. Это «Пивной зал» на Пушкинской площади.

Я с любопытством оглядываюсь, здесь я тоже впервые.

В дальнем конце зала — лепной портик, а под ним три танцующие женские фигуры.

— Это что такое? — спрашиваю я отца.

— Три грации, — отвечает Ардов. — Набузовались пива и пляшут.

Мы с отцом сидим в артистической уборной знаменитой актрисы Евдокии Дмитриевны Турчаниновой. Мы пришли, чтобы выразить восхищение ее игрой. Старуха польщена и приветливо нам улыбается.

Чтобы слегка ее поразвлечь, Ардов решается рассказать ей один из самых последних анекдотов тогдашнего, хрущевского времени. Он говорит:

— Вы слышали, что сейчас всюду идут слияния — сливаются главки, тресты, министерства…

— Да, — отвечает актриса, — это я читала…

— И вот, говорят, чтобы не отстать от моды, в Министерстве культуры решили слить МХАТ и Малый, чтобы был один Московский Академический Мало-Художественный театр…

— Как?! Неужели есть такое решение?! — испуганно говорит Турчанинова. — Но это же ужасно! Это невозможно!

Она переполошилась не на шутку.

— Нет, нет, что вы! Это анекдот такой, всего-навсего анекдот, — пытается успокоить ее Ардов.

Но старуха еще долго волнуется и возмущается, никакого юмора она в толк взять не может.

Эта сцена происходила в помещении филиала Малого, в уютном театрике, который располагается в самом конце Большой Ордынки. С некоторых пор Ардов стал захаживать туда сравнительно регулярно. Все началось с того, что он где-то встретил своего приятеля актера Николая Рыжова и тот сказал:

— Пойди посмотри, как Турчанинова и моя мать играют «Правда хорошо, а счастье лучше». Не пожалеешь… Сходи, пока обе старухи живы.

И вот мы с отцом отправились на этот самый спектакль, а потом смотрели там «Волки и овцы» и еще что-то. Ардову нравилось, что сам театр располагается тут же на Ордынке, да и репертуар там был, что называется, наш, замоскворецкий…

Вообще же к театру на Ордынке было несколько неоднозначное отношение. Ну, прежде всего потому, что наша мать была актрисой и режиссером и оба моих брата обучались в школе-студии при МХАТе.

Сам Ардов в юности был весьма увлечен сценой, был участником каких-то тогдашних студий, а литературную карьеру начинал как театральный рецензент. Но в конце жизни почти не ходил на спектакли, это ему было скучно. Он уже любил вовсе не театр, а самих актеров — за инфантилизм, готовность к розыгрышам, шуткам… Ардов по этой причине всегда охотно

посещал капустники, юбилеи, вечера в Доме актера…

Помнится, отец внушал мне мысль, что актер вообще профессия не мужская, а женская. А если умный и мужественный человек наделен сценическим талантом, то это сущее несчастье. И самый красноречивый тому пример, который он всегда приводил, — великий артист Леонид Миронович Леонидов.

У Ахматовой отношение к театру было вполне прохладным. Приведу здесь небольшой отрывок из воспоминаний Ардова об Анне Андреевне:

«Театр она не любила.

Например, никогда не была в Художественном. Но у нас дома был альбом, посвященный очередному юбилею МХАТа. Ахматова полистала его, посмотрела фотоиллюстрации и сказала свой приговор, так сказать, заочно:

— Ну, так… Теперь я вам скажу: все, что относится к современности, они умеют делать хорошо, а исторические пьесы у них не удаются. Особенно плох у них должен быть Шекспир».

На столе бутылки и тарелки с закуской.

Сегодня к нашей матери пришли две ближайшие подруги — Вероника Витольдовна Полонская и Софья Станиславовна Пилявская.

Ужин тянется долго, они обсуждают внутритеатральные дела.

Ахматова, которая слушает их беседу, вдруг произносит:

— Я не понимаю ни одного слова. Впечатление, будто присутствуешь при профессиональном разговоре гангстеров.

XII

— Превосходное вино, — произносит Михаил Давыдович Вольпин. Он берет бутылку со стола и читает надпись на зеленоватой этикетке: — «Кахетинское № 8… Цена 14 рублей»…

— Мне за строчку перевода платят пятнадцать, — говорит Ахматова.

— Ну вот, — отзывается Вольпин, — даже и рифмовать не надо, чтобы купить такую бутылку…

Сидящий рядом с Вольпиным Николай Робертович Эрдман, как всегда, молчалив.

М. Д. Вольпин, близкий друг моих родителей, именно в его честь меня и назвали Михаилом, был одним из умнейших, остроумнейших и достойнейших людей, которых я знал на протяжении всей жизни.

Помню, на Ордынке был один из бесконечных разговоров о Сталине, и Вольпин поделился с нами таким воспоминанием.

Их везли в телячьем вагоне, человек тридцать столичных интеллигентов и восемь уголовников. У «политических» была с собой теплая одежда, еда на дорогу и все прочее, а у тех, разумеется, ничего. Урки сразу же выдвинули ультиматум — платить определенную дань. Интеллигенты взялись обсуждать это требование, и Вольпин дал совет: пойти на все их условия. Но большинство решило так: нас много, их мало, — а потому ультиматум был отвергнут.

В первую же ночь урки набросились на интеллигентов с железными прутьями, жестоко их избили и отобрали вообще все вещи. После этого «политические» принялись рассуждать, отчего они не смогли дать грабителям отпор, несмотря на внушительное численное преимущество.

Вольпин говорил:

— Я им тогда пытался объяснить. Наши возможности заведомо не равны. Я ради того, чтобы сохранить свой чемодан, урку не убью, не смогу убить. А он ради моего чемодана меня убьет, он с тем и идет. А потому исход всегда предрешен, всегда в его пользу. Вот точно таким же был и Сталин. Все его соперники теоретики, демагоги — не были готовы к тому, чтобы ради власти Сталина убить. А он знал, на что идет, был совершенно к этому готов. И он их всех до одного убил.

Все лагерные рассказы были у Вольпина замечательные. Например, такой. После освобождения он уезжал на поезде из Архангельска в Москву. Соседом по купе в вагоне у него оказался удаляющийся на «заслуженный покой» комендант архангельского

управления НКВД, то есть человек, который в течение многих лет приводил в исполнение приговоры к расстрелу. В частности, он рассказал Вольпину, что пришел работать в органы еще при Дзержинском и сам «железный Феликс» проводил с ним и с другими новичками беседу. Он говорил им о высокой ответственности чекистов, о том, что в их руках будут находиться человеческие жизни. А чтобы почувствовать меру этой ответственности, предложил каждому новичку расстрелять одного из многочисленных приговоренных. Попутчик Вольпина сделал это столь мастерски, что сразу же был начальством отмечен и вскоре получил свою должность коменданта.

Вольпина арестовали довольно рано, еще в начале тридцатых годов. Он познакомился с ГУЛАГом, и кроме того много ездил по стране, а потому в нем не было и тени тех иллюзий, какие в то время усиленно культивировали в себе «собратья по перу», которым очень хотелось жить «дыша и большевея», по меткому выражению Осипа Мандельштама.

Михаил Давыдович несколько раз при мне рассказывал о примечательном разговоре, который был у него с Мандельштамом и Олешей. Вольпин пытался открыть им глаза на мрачную реальность. Осип Эмильевич отделался одной сакраментальной фразой:

— Надо без страха смотреть в железный лик эпохи.

А Олеша стал возражать по существу дела.

Вольпин вспоминал:

— Ну, с Мандельштамом я спорить не стал… А Олеша был мне ровня, и я ему сказал буквально так: «Юра, если вы не опомнитесь и станете культивировать в себе казенный оптимизм, вы или перестанете писать, или сопьетесь».

(От себя добавлю: сбылись оба пророчества.)

Далее Вольпин говорил:

— Олеша этого нашего разговора не забыл. Уже в пятидесятые годы я пришел в управление охраны авторских прав, чтобы получить деньги, и увидел там Олешу. Ему ничего не причиталось, он просто выпрашивал у знакомых мелкие суммы, побирался… Я отвел его в сторону и сказал: «Юра, я вам дам столько денег, сколько вам нужно». И вдруг он взглянул на меня и произнес: «У вас я не возьму». «Почему?» — спросил я. «А вы помните, что вы мне когда-то сказали?..»

Вспоминая свой давний разговор с Мандельштамом и Олешей, Вольпин прибавлял еще и такое:

— Осип Эмильевич мне говорит: «Это правда, что вы пишете юмористические стихи?» «Да, — отвечаю, — пишу». «Я тоже написал недавно юмористическое стихотворение, — продолжает

Мандельштам, — как вам оно понравится?» И прочел такие строки:

Я — мужчина-иностранец,
Я — мужчина-лесбиянец,
На Лесбосе я возрос,
О, Лесбос, Лесбос, Лесбос.

Перед войною Вольпин не имел права жительства в Москве. В таком же положении находился и Н. Эрдман. Они оба поселились тогда в Твери и вместе сочиняли сценарий для кинорежиссера Бориса Барнета.

Как-то раз тот приехал в Тверь для очередной встречи со своими авторами, но явился в страшном раздражении и даже гневе.

— Больше я к вам сюда ни за что не приеду, — с порога заявил Барнет.

Позднее, слегка успокоившись, он сказал:

— Вы люди талантливые, и сценарий ваш мне очень нравится… Но ездить сюда невозможно. В вагоне против меня сидел мужик, который всю дорогу жрал селедку с газеты, рыгал, пускал газы и при этом то и дело повторял, обращаясь к попутчикам: «Простите вы меня за такое мое безобразие…»

После войны, уже вернувшись в Москву, Вольпин и Эрдман продолжали писать сценарии для кино и пьесы для музыкальных театров. Но, как репрессированные, были несколько в тени. Дела их окончательно поправились, когда фильм по их сценарию «Смелые люди» получил Сталинскую премию.

Эта история тоже примечательная. Именно из-за их авторства картину на премию не выставляли. (Тут надо заметить, что действие фильма разворачивается на конном заводе, а герой — наездник.) Так вот, по словам Вольпина, когда Сталину дали на утверждение список награждавшихся в тот год, он будто бы произнес такую фразу:

— Смелым лошадям тоже надо дать.

И еще из рассказов Вольпина. Как-то он побывал с женой в Одессе, и они отправились на местную барахолку. Сам Михаил Давыдович особенного интереса к торжищу не испытывал, а потому, пока жена ходила по рядам, он присел на крылечко у небольшого домика, стоявшего при входе. Над этим самым крыльцом были электрические часы.

Через некоторое время с барахолки вышли две игривые девицы, и одна из них, кокетливо взглянув на Вольпина, спросила:

— Молодой человек, который час?

М. Д., который был уже отнюдь не молод, воспринял вопрос буквально и указал ей рукою на огромный циферблат:

— Вот часы.

В ответ на это девица обругала его по матери, и они с подругой стали удаляться.

Эту сцену наблюдали три одесситки, которые при входе на барахолку продавали вареные кукурузные початки. Одна из них сказала так:

— Удивительное дело. Ну, предположим, ночью ты проститутка. Но днем ты же можешь быть порядочным человеком… Нет, такое бывает только у нас в Одессе.

Другая торговка отвечала:

— Я думаю, в Николаеве то же самое… Я никогда не была в Москве, но уверена — и там такая же картина…

Третья торговка в это время сосредоточенно рылась в своей сумке. Наконец она достала оттуда самый большой початок, протянула его Вольпину и сказала:

— Молодой человек, возьмите бесплатно. Догоните ее и дайте по морде!..

Ардов иногда вспоминал такую реплику Вольпина. Они вместе были в гостях у Евгения Петрова, причем отец был в белых штанах. И там он позволил себе весьма крутую шутку. Тогда Вольпин сказал:

— Ну, Ардова пора выводить под под *белы б руки*.

Вообще же чувство языка и способность к каламбурам у Вольпина были изумительные. Лучше всего это проявлялось в его юмористических стихах и частушках. Кое-что из этого хранит моя память.

В свое время нарком Луначарский публично заявил, что в Советском Союзе «решен половой вопрос». Вольпин тогда сочинил такие строчки:

Луначарский сказал,
Так что ахнул весь зал:
«Нет у нас полового вопроса!»
А вопрос половой
Покачал головой,
Не поверил словам наркомпроса.

О реперткоме, тогдашней цензуре:

Когда вхожу я в репертком,
Беру от страха «ре» пердком.

Нужна большая доза мужества,
Чтоб удержаться до замужества.

Встречаюсь я с баптисткою,
Девкой-недотрогою.
А потому баб тискаю,
Религию — не трогаю.

Среди неисчислимых Дусь
Вы есть единственная Дуся.
Себя я больше не стыдюсь
И буйной страсти предадуся.

У Льва Никулина было стихотворение, которое начиналось так:

У палача была любовница,
Она любила пенный грог…

А Вольпин закончил:

Простая рыжая коровница,
На паре здоровенных ног.

В свое время Михаил Давыдович подарил Ильфу и Петрову частушку, которую они вставили в «Золотого теленка»:

У Петра Великого
Близких нету никого,
Только лошадь да змея
Вот и вся его семья.

Еще вольпинская частушка:

Ты не ухни, кума,
Да ты не эхни, кума,
А я не с кухни, кума,
А я из техникума.

Со слов Вольпина я запомнил такие афоризмы:

«У нас в Советском Союзе печать только свободная, всякая другая у нас запрещена», «Советская колыбельная песня должна будить ребенка».

Я говорю Вольпину:

— У Саши Черного есть описание праздничного стола, и там такие строки:

Дремлет поросенок,
Словно труп ребенка…

— У меня это лучше, — отвечает мне Михаил Давыдович и читает:

А поросенок возлежал
С бумажной хризантемой в пасти
И грустным взглядом провожал
Свои съедаемые части.

Еще я запомнил басню Вольпина «Гордиев узел», но, к сожалению, с небольшим пропуском.

Однажды Гордий взял веревку
И, проявив сноровку,
Он завязал веревку в узел
И до того сей узел сузил,

Что разрубить его неможно нипочем
Ни топором, ни тяпкой, ни мечом,
Вокруг узла волнения и крики.
И прибежал на шум сам Александр Великий.

…….
На узел даже не взглянул,
А громко крикнул: «Кто здесь Гордий?!»
И бац ему по морде!

XIII

Николай Робертович Эрдман бывал на Ордынке гораздо реже Вольпина. Мои родители и все гости относились к нему по-особенному, его пьеса «Самоубийца» всегда считалась бесспорным шедевром, а он сам мастером некоей литературной филиграни. Свидетельством тому были и басни, которые в свое время Эрдман сочинял в соавторстве с Владимиром Массом. Например, такое:

Должны быть вежливы всегда мы,
Всегда, товарищ дорогой.
В один трамвай вошли три дамы
Одна беременней другой.

В трамвае том сидел пижон,
Он был их видом поражен.

Беременность — не звук пустой,
И, не теряя времени,
Он уступает место той,
Которая беременней.

Соски на вымени коровьем
Кичились раз своим здоровьем
И с простотою деревенской
Глумились так над грудью женской:

— Ты и мала, ты и мягка
И кот наплакал молока.
Но всем наветам вопреки
Молчали женские соски.

Грудь разговаривать не может.
А вымя? — спросит кто-нибудь.
Нас занимает только грудь.

Поэт, свою судьбу постигнуть силясь,

Хоть не был Пушкину сродни,
Вскричал: — Куда вы удалились,
Моей весны златые дни?

Златые дни ответствовали так:
— Мы не могли не удалиться,
Когда у вас такой бардак
И вообще бог знает что творится!

Златые дни в отсталости своей
Не понимают наших дней!

В конце концов обоих баснописцев арестовали. Рассказывают, что актер В. И. Качалов выступал на кремлевском приеме и там прочел несколько басен Эрдмана и Масса. Кто-то из присутствовавших осведомился, как фамилии авторов. И через несколько дней они оба были схвачены в Сочи, там шли съемки фильма по их сценарию. Это были знаменитые «Веселые ребята».

Мне говорили, что это событие стало темой последней басни, которую сочинил Эрдман:

Явилось ГПУ к Эзопу
И хвать его за ж….
Смысл этой басни ясен:
Не надо больше басен.

Ардов рассказывал, что свои письма, присылаемые матери из Енисейска, ссыльный Эрдман подписывал таким образом: «Твой мамин-сибиряк Коля».

Во время войны Эрдман и Вольпин служили в ансамбле НКВД, были там, так сказать, штатными сочинителями. Когда Эрдман впервые надел дома форму чекиста и посмотрелся в зеркало, то сказал:

— Мама, кажется, за мной опять пришли.

С этой энкаведешной формой связана и другая забавная история. В Ташкенте Эрдман и Вольпин пришли навестить Ахматову. И вот живущие по соседству люди видят, что средь бела дня к ней идут два человека во всем известной форме. Стало ясно, что сейчас Ахматову арестуют. Но вот, против чаяния, люди в форме довольно быстро вышли от поэтессы по-прежнему вдвоем, а потом опять вернулись, неся в руках бутылки с вином…

И тут все поняли, что арест не состоялся.

XIV

— Ви-тинь-ка, — медленно и раздельно произносит худой невысокий человек, сидящий на стуле у стола, — мне понравился ваш последний рассказ в «Крокодиле»… Вы неплохо пишете… К сожалению, я не могу этого сказать о нашем общем друге Лене Ленче…

Это Зощенко. Я впервые вижу его на Ордынке и пожираю его глазами. Он мой кумир, мой самый любимый писатель.

Сейчас он похож на человека, который недавно очнулся от летаргического сна и заново осваивается с реальностью, щурится на солнечный свет, растерянно улыбается людям. На дворе 1954 год.

Зощенко усмехается и продолжает свою речь:

— Я был у них в гостях… У Ленча… Лиля мне говорит: «Да, Миша, стареем, стареем… Вот Лене (!) пятьдесят, мне уже сорок…» А я так прикинул: если она правду говорит, значит, я в свое время был растлителем малолетней…

(Надо сказать, что у Зощенко с этой дамой был довольно длительный роман. Тогда она была женою некоего О. Злые языки про него рассказывали, что он частенько демонстрировал фото супруги и объяснял:

— Это моя жена. С ней живет Зощенко.)

На Ордынке был некий культ Зощенко. Он вспоминался и цитировался постоянно. Моя память и сейчас хранит многое из того, что употреблялось в нашем семейном обиходе:

«Желающие не хотят»,

«Маловысокохудожественные стихи»,

«Пьеса не хуже, чем у Бориса Шекспира»,

«Не то чтобы мы пишем из-за денег, но гонорар вносит известное оживление в наше дело».

Культ Зощенко в нашей семье, так сказать, косвенно поддерживала Ахматова. Анна Андреевна относилась к нему по-особенному, как к товарищу по несчастью. За глаза она всегда называла его Мишенькой.

Я много раз слышал и в свое время записал нижеследующий рассказ Анны Андреевны. В августе сорок шестого года она шла по ленинградской улице и вдруг увидела, что по другой стороне идет Зощенко. Заметив Ахматову, он перебежал через мостовую, буквально бросился к ней. Надо сказать, что прежние их весьма далекие — отношения ничего подобного не предполагали. Он схватил Анну Андреевну за руку и стал сбивчиво говорить:

— Что же теперь делать? Как же теперь быть? Неужели

терпеть? Неужели это терпеть?

— Конечно, терпеть, — произнесла Ахматова, улыбаясь от своего неведения.

Тогда Зощенко стал горячо ее благодарить, говорил:

— Вы даже не представляете себе, как вы меня поддержали…

Он попрощался, и они расстались.

Лишь несколько часов спустя Ахматова узнала о постановлении ЦК и тогда поняла причину странного поведения Зощенко.

В начале шестидесятых годов, уже после смерти Михаила Михайловича, мне удалось прочесть «Четвертую прозу» Мандельштама, и я с великой радостью отметил те высокие похвалы, которыми он удостаивает Зощенко. Когда же я заговорил об этом с Ахматовой, она мне сказала:

— Как хорошо, что Мишенька знал об этом.

У Анны Андреевны были свои любимые цитаты из Зощенко. Точно помню две из них.

Моего младшего брата, в те годы актера, она частенько называла, как одного из героев рассказа «Забавное приключение»:

— Артист драмы.

Другая излюбленная цитата из раннего рассказа «Лялька Пятьдесят». Там повествуется о воре, который влюблен в проститутку с таким именем. В финале он является к ней, говорит, что принес кучу денег, и приказывает выгнать клиента — богатого китайца. А когда тот уходит, вор признается, что денег у него вовсе нет, и тогда Лялька Пятьдесят в отчаянии повторяет:

— Кто мне возместит китайские убытки?

В пятидесятые годы Ахматовой приходилось зарабатывать на жизнь тяжким трудом — переводами из китайской классики, и тогда эта реплика была для нее весьма актуальна.

А когда испортились отношения между Москвою и Пекином, Анна Андреевна ввела в обиход новую редакцию:

— Кто нам возместит китайские убытки?

В один из ранних своих, довоенных, визитов на Ордынку Зощенко почему-то рассматривал альбом с фотографиями. Там между прочими был такой снимок — два атлета в трусиках. Взглянув на фотографию, Михаил Михайлович сказал:

— Этот думает: дай, думает, сниму штаны… И этот: дай, думает, и я сниму…

А вот еще одна замечательная реплика Зощенко. Перед самой войной умер их с Ардовым общий знакомый (фамилию я забыл). Так вот, когда война разразилась, Михаил Михайлович сказал отцу:

— А Н. Н. умер — и не прогадал.

Отец рассказывал о невероятной, неправдоподобной славе, которая пришла к Зощенко в тридцатые годы. В этой связи вспоминался такой случай — со слов самого Михаила Михайловича.

Как известно, он был сыном художника. И вот как-то в комиссионном магазине писатель увидел картину отца. Ему захотелось купить холст, но цена была непомерно высокая. Когда же он осведомился у продавца, отчего просят так дорого, тот отвечал:

— Так ведь это — Михаил Зощенко.

В этом случае его собственная слава перешла на его давным-давно умершего родителя.

И Ахматова и Ардов всегда выражали восхищение тем, как Зощенко читал свои рассказы с эстрады. (Анна Андреевна назвала его гением этого дела.) Отец вспоминал, что Михаил Михайлович читал свои вещи мрачновато, без тени улыбки, а зал в это время буквально корчился в конвульсиях от смеха.

Вот рассказ Ардова, записанный мною дословно:

— Как-то на совместном выступлении я спросил Михаила Михайловича, отчего он так мрачно читает. На это он мне сказал: «Когда я сочиняю свои рассказы, я смеюсь так, что валюсь от смеха на диван. Но раз отсмеявшись над чем-нибудь, я уже больше никогда не смеюсь». Однажды я заметил: во время чтения какого-то рассказа Зощенко против обыкновения улыбнулся. Когда он окончил, я спросил его: «Почему вы улыбнулись?» Он отвечал: «Просто я забыл это место».

У меня есть дневниковая запись о Зощенко, сделал я ее летом 1958 года. Там я писал:

«Второй раз в жизни я видел Михаила Михайловича за четыре месяца до его смерти. Я знал, что он придет на Ордынку, и ждал его. Еще раньше я попросил отца дать мне одну из его книг, чтобы он надписал ее лично мне.

Прохладным апрельским вечером я стоял у ворот нашего дома и ждал приезда Зощенко. Он бывал у нас и прежде, но во дворе шел ремонт и было очень грязно. В это же время должна была возвратиться из гостей Анна Андреевна. Она приехала раньше, и я проводил ее до дверей, потом вернулся к воротам и стал ждать дальше.

Ждал я до тех пор, пока отец не вышел ко мне и не сказал, что Михаил Михайлович уже пришел. Как я его тогда не заметил, до сих пор понять не могу.

Меня тогда поразило, как плохо стал Михаил Михайлович разговаривать. Слова у него выходили с трудом, как будто ему было больно их из себя выталкивать. Общий разговор из-за этого

очень затруднялся. Я весь превратился в слух. Помнится, он говорил о поэзии, точнее даже, о сборнике „День поэзии“. Он говорил, что почти все, что ему понравилось, принадлежало старым поэтам Ахматовой, Пастернаку, Асееву…

Когда стали ужинать, я, до того сидевший в углу комнаты, придвинулся к столу и сел около него. Моя мать сказала ему, что я его большой поклонник и, как она выразилась, знаток. Он впервые взглянул на меня с интересом и сказал, что, если бы знал об этом, сделал бы мне на книге более теплую надпись. За ужином он ничего не пил и не ел».

Тут я прерываю свою старую запись, чтобы сделать некоторое дополнение. Мать впоследствии вспоминала, что между нею и Зощенко состоялся такой краткий диалог.

— Миша, почему вы ничего не едите?

— Видите ли, Ниночка, какая странная история: мне все время кажется, что я отравлюсь.

Вообще же атмосфера вечера была самая непринужденная. Я помню и такую деталь. Михаил Михайлович в Москве остановился у своего старого друга литератора В. А. Лифшица, который жил неподалеку от Ленинградского шоссе. На Ордынку Зощенко поехал на такси. В те годы машины еще свободно ездили через Красную площадь, и шофер, который его вез, ухитрился врезаться в фонарный столб неподалеку от Кремля. Эта история всех позабавила, в ней нашли и некий политический оттенок. Зощенко едет в гости к Ахматовой и сбивает столб на Красной площади. Не провокация ли это?

Возвращаюсь к своей записи:

«Когда Михаил Михайлович стал прощаться, я вызвался проводить его до метро. Он сначала отказывался, но когда мать поддержала просьбу, согласился.

Мы вышли в мокрую и холодную весеннюю ночь. Он спросил меня, правда ли, что я так им интересуюсь. Я ответил, что он мой любимый писатель и, если время позволит, я буду писать о его творчестве. Он спросил меня, знаю ли я его повести, на что я ответил, что знаю и люблю.

Те двести пятьдесят метров, которые мы с ним прошли (дальше он себя провожать не позволил), промелькнули мгновенно, а я все еще говорил ему, что думаю об отдельных его вещах, задавал ему вопросы…

На прощание он обещал надписать мне книжку, которую вот-вот должны были выпустить, и сказал, что если я ее не достану, то он сам пришлет мне.

И теперь, через несколько дней после того как я достал эту книжку, его не стало…»

Ардов сидит в своем кресле в столовой, прихлебывая чай, и просматривает газеты.

— Послушай, — говорю я ему, — сегодня двадцать второе июля, ровно год со дня смерти Зощенко. В приличной стране уже начало бы выходить полное собрание сочинений.

— В приличной стране, — отзывается отец, — он был бы еще жив.

XV

— Анна Андреевна, вы помните?! На Гороховой, у мадам Жерар… Всего пять рублей, а какие барышни! Вы помните?

— Лев Вениаминович, ну откуда я могу это помнить? — отвечает Ахматова, едва сдерживая смех.

Разговор этот происходит у нас в столовой, присутствует старый друг моего отца Л. В. Никулин, его жена, все мы и Ахматова. Лев Вениаминович явился навеселе и вдруг пустился в воспоминания о злачных местах старого Петербурга. А так как под рукою никого из петербуржцев не оказалось, Никулин свои речи адресовал Ахматовой.

Советский писатель, один из самых маститых, «проваренный в чистках, как соль», Лев Никулин был одним из завсегдатаев Ордынки. Человек притом он был довольно нелюдимый, при посторонних вообще молчал. Наш отец, пожалуй, был единственным человеком, с которым Никулин позволял себе откровенничать.

Ардов говорил о нем:

— Это — ужаснувшийся.

Так отец называл тех людей, которые сами чудом уцелели в тридцатых и сороковых годах, чьи близкие и родные погибли при терроре и кто стал от этого сверхосторожным — даже при менее свирепых, чем Сталин, его преемниках.

Никулин был сыном театрального антрепренера, в свое время довольно известного. Детство его прошло в Одессе. И он, например, вспоминал, как в пятнадцатилетнем возрасте желал по вечерам гулять на Дерибасовской улице и как родные этому препятствовали. Старая еврейская бабушка говорила ему:

— Левочка, ну почему мне не хочется на Дерибасовскую?!

Никулину был свойствен довольно желчный юмор. Я помню, как он пародировал советскую пьесу из жизни Пушкина. Арина Родионовна говорит своему питомцу:

— Эх, Сашенька, дожить бы тебе до того времечка, когда Владимир Ильич будет громить народников!..

Никулин был другом Валентина Стенича. На Ордынке иногда вспоминалась такая история. Мои родители после женитьбы поселились в коммунальной квартире на улице под названием Садовники. (Потом ей присвоили имя Осипенко.) Их комната была на первом этаже.

Однажды в отсутствие отца туда зашли Никулин и Стенич. Они уселись на диван и пустились в разговор с моей матерью, которая в те годы была весьма привлекательна.

В это время распахнулась форточка и в комнату всунулась чья-то голова.

— Простите, — послышалось от окна, — вы не знаете, где здесь помойка?

— Вот! — одновременно произнесли Никулин и Стенич и указали друг на друга.

Вообще же погибший в тридцатые годы писатель Валентин Осипович Стенич в моем восприятии был личностью легендарной. На Ордынке о нем рассказывалось множество новелл.

Настоящая его фамилия была Сметанич. В юности он писал стихи, его отчасти прославил Блок в своем опусе «Русский денди». Во время гражданской войны Стенича едва не расстреляли, и после этого он перестал писать стихи.

С ним была связана и такая легенда. Стенич утверждал, что когда-то в молодости из подражания Раскольникову он будто бы убил старуху, но не топором, а тяпкой. В это не все верили, но Стенич иногда прибегал к такой шутке. Если он видел какую-нибудь немолодую даму, которая вызывала в нем раздражение, то произносил с кровожадной интонацией:

— Где моя тяпка?!

И еще одна жутковатая, но также не вполне достоверная история. Когда эксгумировали прах Гоголя и перевозили его из Даниловского монастыря в Новодевичий, Стенич якобы украл ребро великого писателя и с тех пор держал эту кость на своем письменном столе.

Кто-то из знакомых карикатуристов изобразил такую картину. К спящему Стеничу является гигантская фигура Гоголя и вопрошает:

— Ну шо, сынку, помогло тоби мое ребро?..

«Русскому денди» Стеничу большевизм был отвратителен, и он этого почти не скрывал. Видный рапповец Юрий Либединский жаловался Ардову на Стенича. Он, Либединский, прибыл в Ленинград, чтобы агитировать попутчиков, писателей нейтральных, примкнуть к РАППу. После его выступления слово взял Стенич и сказал буквально следующее:

— Я согласен на такую игру: вы, рапповцы, — правящая партия, мы оппозиция. Но вы хоть бы подмигнули нам, дали понять, что сами-то во всю эту чепуху не верите…

Стенич говорил:

— Знаю я ваших «пролетарских писателей». Они по воскресеньям жрут сырое мясо из эмалированных мисок, придерживая куски босой ногой.

За бесшабашную болтовню Стенича вызвали в «большой дом»

на Литейном. Там строгий чекист стал делать ему внушение.

— Валентин Осипович, у нас есть сведения, что вы придумываете и распространяете антисоветские анекдоты.

— Ну какой, например, анекдот я, по вашим сведениям, сочинил? - осведомился Стенич.

— Например, такой, — сказал чекист. — Советская власть в Ленинграде пала, город в руках белых. По этому случаю на Дворцовой площади происходит парад. Впереди на белом коне едет белый генерал. И вдруг, нарушая всю торжественность момента, наперерез процессии бросается писатель Алексей Толстой. Он обнимает морду коня и, рыдая, говорит: «Ваше превосходительство, что тут без вас было…»

Стенич посмеялся и сказал:

— Это придумал не я. Но это так хорошо, что можете записать на меня…

Стенич где-то кутил всю ночь и залил рубашку красным вином. Рубашку он тут же выбросил и продолжал пьянствовать. Утром ему понадобились деньги, чтобы продолжать кутеж. Он повязал галстук на голую шею, надел пиджак, кашне, пальто и отправился в Управление охраны авторских прав просить аванс. Не снимая пальто, Стенич появился в комнате, где сидели бухгалтеры. Увидев его, один из них радостно воскликнул:

— Валентин Осипович! А мы собирались вам звонить… Тут надо подписаться на государственный заем.

Стенич одним движением сбросил с себя пальто, кашне, пиджак и оказался по пояс голым.

— Вот, — закричал он, — что со мной ваши займы наделали!

Стенич был изумительным переводчиком с английского. М. Д. Вольпин рассказывал мне, что был свидетелем такой сцены.

Находясь в гостях у Ильфа, Стенич взял с полки английское издание «12 стульев» и стал с листа переводить это на русский язык теми самыми словами, какие были в подлиннике. Простодушный Евгений Петров воскликнул:

— Вы это наизусть знаете!

— Ну вот еще, — отозвался переводчик, — буду я учить наизусть всякое г…

Стенич был членом писательского домостроительного кооператива. И вот стройка замерла из-за отсутствия гвоздей. Тогда Стеничу поручили раздобыть гвозди. Он пошел в соответствующий наркомат, отыскал нужную комнату и обнаружил там тщедушного еврея, который распределял этот дефицитный товар. На всех заявках, которые поступали к нему, этот человек писал одну и ту же резолюцию: «Гвоздей нет. Отказать».

Тогда Стенич решил употребить красноречие. Он говорил о том, что писателям необходимо жилье, ибо они работают в своих квартирах, и что, если гвоздей не дадут, может не состояться расцвет советской литературы.

Еврей все это выслушал весьма меланхолически и наложил свою обычную резолюцию: «Гвоздей нет. Отказать».

Тогда Стенич посмотрел ему прямо в глаза и с расстановкой произнес:

— А Христа распинать у вас были гвозди?..

Рассказывал Семен Израилевич Липкин:

— Однажды мы со Стеничем шли к кому-то в писательский дом в Лаврушинском. Лифт не работал, и мы поднимались по лестнице пешком. Я говорил: «Вот здесь живет такой-то писатель… А вот здесь — такой-то…» Стенич некоторое время меня слушал, а потом воскликнул: «Да это какой-то шашлык из мерзавцев!»

Кто-то из знакомых упрекнул Стенича:

— Нельзя называть большевиков «они». Надо говорить «мы»!

— Ну ничего, — ответил Стенич, — придет время, «мы» «нам» покажем…

XVI

На столике возле зеркала зазвонил телефон. Один из гостей берет трубку.

— Я слушаю… — Тут он смотрит на нас и произносит с недоумением: — Тут спрашивают какого-то Павла Геннадиевича…

— Павла Геннадиевича? — кричит Ардов из своего кабинета. — Скажите, что он был и только что ушел…

Павел Геннадиевич Козлов, приятель мамы еще по Владимиру, как я уже упоминал, был преподавателем теории музыки в заведении Гнесиных. Однако там у него все шло вовсе не гладко. Причиною тому было его не в меру нежное сердце. Он развелся с Еленой Ивановной и женился на одной из своих учениц, а это, как известно, в советских вузах не поощрялось.

Но мало того, через некоторое время он развелся и с этой женою, чтобы сочетаться браком с еще более молодой ученицей. Но и этот союз оказался не последним — за ним был четвертый в том же роде. Последняя жена была моложе Павла Геннадиевича уже лет на пятьдесят, и в конце концов она с ним развелась, а затем привела в их общую квартиру мужа-сверстника.

Все это разворачивалось на протяжении десятилетий, но всегда по одному и тому же сценарию. В каждый промежуточный период, когда действующая жена его еще контролировала, а он уже встречался с новой возлюбленной, Павел Геннадиевич просил Ардова отвечать на телефонные звонки именно таким образом:

«Был и только что ушел».

Вообще же Козлов был человеком воспитанным, милым, с тонким чувством юмора. На Ордынке бытовали некоторые его новеллы.

Один студент Института Гнесиных на экзамене назвал сочинение Дебюсси «Полуденный отдых фавна» — «Обеденный перерыв фавна».

Другого студента экзаменаторы спросили:

— Что такое баркарола?

Он ответил так:

— Это песня венецианских гольденвейзеров.

И наконец моя самая любимая из историй П. Г. Козлова.

Даже не в институте, а в училище шел экзамен по диалектическому материализму. (Надо сказать, что все преподаватели подобных «наук», как правило, страдали некоторым комплексом неполноценности.) И вот один из мальчиков проявил такое невежество, что экзаменатор спросил

его с некоторым вызовом:

— Позвольте, сами-то вы кто — материалист или идеалист?

— Я баянист, — смиренно отвечал юный музыкант. — Поставьте мне троечку…

Один из самых близких друзей нашего дома — Семен Вениаминович Кантор — был в определенном смысле существом парадоксальнейшим. Он был унылый юморист. Его интеллигентско-еврейская унылость никак не вязалась с профессией автора эстрадных и цирковых шуток. Впрочем, юмор его был несколько механический. Вот тому наглядный пример. Кантора пригласили посетить выставку собак. Он ответил:

— Мне недосуг.

При всем том Семен Вениаминович человек был удивительно воспитанный, приличный и приятный в обращении. Он очень хорошо играл в карты, а смолоду и в теннис. В свое время он был одним из карточных партнеров Маяковского, и у него хранилась открытка, в которой поэт приглашал его на игру в покер. А подпись была такая: «Ваш покернейший слуга Владимир Маяковский».

Кантор был коренным москвичом, жил в Лабковском переулке на Чистых прудах, в одной из комнат коммунальной квартиры, которая когда-то вся принадлежала их семейству. (Дом этот и по сию пору стоит, в свое время он принадлежал отцу поэта-имажиниста С. Рубановича.)

Отец Кантора был вполне преуспевающим присяжным поверенным. Кстати сказать, именно его помощником числился Осип Максимович Брик. И наш Семен Вениаминович прекрасно помнил тот день, когда Брик после свадьбы нанес визит своему патрону и представил ему молодую жену, в девичестве Лилю Уриевну Коган.

Семен Вениаминович был меломан, смолоду учился музыке, был завсегдатаем Большого и Консерватории. Со слов Кантора я запомнил два старых театральных анекдота.

По ходу оперного спектакля некоему тенору следовало взять свою «возлюбленную» на руки. Тенор был субтильный, а партнерша дородная, а потому поднять ее было весьма затруднительно. В этот момент из зала раздался чей-то голос:

— Раздели на две охапки!

В опере «Фауст» есть такое место. После дуэли сбегаются горожане и видят лежащего на земле Валентина. Тут они хором несколько раз повторяют такую фразу:

Кажется, он жив — поможемте ему…

Так вот когда-то в Большом партию Валентина исполнял артист, который был крещеным евреем. Хористам это обстоятельство было известно, а потому они текст слегка переделывали и пели так:

Кажется, он жид — поможемте ему…

Из завсегдатаев Ордынки самым комическим персонажем, пожалуй, был полковник Ч., приятель Ардова еще с военных времен. Примечательно было даже само их знакомство, каковое произошло при следующих обстоятельствах. Отец получил путевку в военный санаторий в Архангельское. Там он жил в трехместной палате с другим своим будущим приятелем — военным врачом-рентгенологом Львом Фрейдиным. Однажды туда приехала мама. И вот отворилась дверь, в палату вошел человек в офицерском кителе. Увидев маму, он растерянно произнес:

— Простите, это женская палата?

— Входи, входи, чудак, — отозвался Ардов со своей койки.

(Слово «чудак» он произнес на букву «м».)

Отец рассказывал, что в самом начале знакомства Ч. принес ему в подарок картину. Это была скверная копия известного сюжета «Утро в сосновом бору».

— Виктор, — сказал Ч., - я купил две такие картины. Одну я повесил у себя над кроватью, а эту ты повесь у себя. Это будет знаком того, что мы с тобою друзья…

Ардов с возможной деликатностью повесить картину отказался.

К нам опять пришел Ч. Вот он сидит за столом и морщит брови. Он и всегда-то мрачноват и серьезен, а сегодня даже сверх всякой меры. Он говорит:

— Слушай, Виктор… Я сейчас проходил по Пятницкой, там у метро продают ананасы…

Тут отец решается пошутить со своим гостем и говорит:

— Так что же ты нам не купил ананас?.. Анна Андреевна, — обращается он к сидящей на диване Ахматовой, — вы когда-нибудь слышали, чтобы в приличный дом приходили без ананасов?

— Никогда в жизни, — отзывается Ахматова.

Эффект этого диалога превзошел все ожидания. Ч. поспешно вышел из-за стола и через двадцать минут вернулся с ананасом.

Своим знакомством с Ахматовой Ч. весьма гордился и даже его афишировал. На Ордынке стал известен такой эпизод. В одном московском доме кто-то спросил Ч.:

— Как поживает Ахматова? Как у нее дела?

— У нее все в порядке, — отвечал полковник со своей обычной серьезностью. — Я даю ей рекомендацию в партию.

Мы стоим посреди ковра как некая скульптурная группа — все без движения: профессор Борис Евгеньевич Вотчал со своим стетоскопом, Ардов, оголивший грудь и живот (он пациент), и при сем два свидетеля — я и профессорский пес-боксер…

— Ну что же, — произносит наконец Вотчал, отнимая стетоскоп от груди отца, — по-моему, ухудшений нет… Продолжайте принимать те же лекарства…

Пес подошел к хозяину и прижался к его ноге.

— Между прочим, — говорит Вотчал, — недавно один из моих пациентов спросил: «А как вы сами лечитесь?» А я ему говорю: «К моему псу регулярно приходит ветеринар и выписывает ему какие-то шарики. Я их даю псу и сам их принимаю…»

Все это происходит в профессорской квартире, в высотном здании на Кудринской площади.

Поскольку у Ардова был врожденный порок сердца, а Вотчал был выдающимся кардиологом, то они познакомились как пациент и медик. В дальнейшем они подружились, Борис Евгеньевич стал бывать на Ордынке и какое-то время пользовал Ахматову.

Я помню, как Вотчал рассказывал:

— Мой учитель… (тут называлась какая-то неизвестная мне профессорская фамилия) говорил нам, молодым врачам: «Запомните: если вас когда-нибудь позовут на консилиум и там коллеги разделятся на две группы — первая за один какой-нибудь диагноз, другая за второй, — никогда не присоединяйтесь ни к одной из этих партий. Всегда выдвигайте какую-нибудь свою, третью версию. И если когда-нибудь вы окажетесь правы, это запомнят навсегда». — И Борис Евгеньевич добавляет: — В моей практике это уже несколько раз было.

Вотчал уходит после визита. Он целует Ахматовой руку, прощается с нами.

Мы смотрим ему вслед. Он высокий, стройный, подтянутый. Полковничья форма ему удивительно к лицу, особенно фуражка с высокой тульей и узким козырьком.

Я говорю:

— Анна Андреевна, по-моему, он похож на офицера старой гвардии…

— Я их очень много видела в Царском, — отвечает мне Ахматова. — Именно такие они и были…

Совершенно в другом роде был еще один медицинский

профессор, близкий приятель Ардова, — Александр Наумович Рыжих, огромный еврей с очень тонким голосом.

Отец и с ним познакомился по необходимости, в свое время угодил в его проктологическое отделение, которое тогда помещалось против синагоги в Большом Спасоглинищевском переулке. Ардов сразу с Рыжихом подружился, сочинял в его честь шуточные стихи. Одно я помню почти целиком:

Он пациента не водит за нос,
Не произносит он лишних слов,
А залезает он прямо в анус,
И вот диагноз уже готов.

…….
К нему попал ты, так не взыщи,
Его девиз — «ищи свищи!».

Через день после операции профессор Рыжих зашел в палату к Ардову и осведомился о состоянии здоровья. Отец отвечал ему так:

— Чувствую себя превосходно, с волнением жду премьеры…

— Какой премьеры? — спросил профессор.

— Что в наши дни называется премьерой? — отвечал Ардов. — Это когда г… идет в первый раз.

На Ордынке идет разговор о национальности Ленина. Ардов говорит:

— А мы сейчас позвоним Рыжиху, он родом из Самары, а там жил дед Ленина по матери — Бланк.

Он набирает номер и говорит в трубку:

— Саша?.. Это я, Ардов… Послушай, кто был по национальности доктор Бланк?.. Ну там у вас, в Самаре…

— Еврей, конечно, — слышится тонкий голос из трубки. — Но теперь почему-то это скрывают…

И еще одна замечательная реплика Рыжиха. Он кричит начальству в полемическом задоре:

— Что мне ваш ЦК? Что мне ваше Политбюро?! Я всем им вот этим пальцем в задницу лазил!..

О Рыжихе еще рассказывалось такое. В 1953 году во время «дела врачей-убийц» он был в Сандуновских банях со своим приятелем, знаменитым военным хирургом Александром Вишневским. Когда они сидели в парной, Рыжих довольно громко сказал:

— Саша, говорят, что Сталин хочет выселить из Москвы всех

евреев. Он, наверное, с ума сошел?

— Тише! Тише! — Вишневский замахал на него руками. — Что ты говоришь?!!

— А что такого? — отвечал Рыжих. — Здесь же баня, здесь никто не видит, что ты генерал…

XVII

В нашей столовой на диване две фигуры, лица повернуты друг к другу и сияют счастьем. Это — Ахматова и ее сын…

Нет, не так надо начинать…

На диване рядом с Ахматовой сидит застенчивый, бедно одетый человек — и плачет, с трудом сдерживает рыдания, и слезы капают с его лица в тарелку с бульоном.

На Ордынке — обед. Мы все сидим за столом, а этот гость явился неким предтечей Л. Н. Гумилева, предвестником его скорого освобождения.

Он поэт, еврейский поэт, пишущий на идиш. А фамилия у него совершенно не подходящая ни к облику, ни даже к профессии. Его зовут Матвей Грубиян. Он только что освободился из того самого лагеря, где сидит Лев Николаевич, и вот явился к Анне Андреевне с приветом от сына и со своими рассказами о тамошней жизни. Слезы текут по его лицу, слезы на глазах у Ахматовой, у всех нас, сидящих за тем памятным мне обедом.

Это было в феврале 1956 года.

А сам Гумилев появился на Ордынке ясным майским днем того же года. Он был в сапогах, косоворотке, с бородою, которая делала его старше и значительнее. Бороду, впрочем, он немедленно сбрил, отчего сразу помолодел лет на двадцать.

Анна Андреевна попросила меня помочь приобрести для Льва Николаевича приличное платье. Мы с ним отправились на Пятницкую улицу и там в комиссионном магазине купили башмаки, темный костюм в полоску, плащ…

С этого эпизода началась моя многолетняя дружба с Гумилевым. Нам вовсе не мешало то обстоятельство, что он был старше меня на четверть века. Я всегда относился к нему как почтительный ученик к учителю. Да к тому же Л. Н. чувствовал себя много моложе своих лет.

— Лагерные годы не в счет, — утверждал он, — они как бы и не были прожиты.

Лев Николаевич сидит на тахте. Поза — лагерная, коленки возле подбородка. Во рту дымится папироса. Он говорит:

— Моим соседом по нарам был один ленинградский филолог. По вечерам он развлекал нас таким образом. Он говорил: «Очень скоро произойдет мировая революция, и город Гонолулу переименуют в Красногавайск… Разумеется, там начнет выходить газета „Красногавайская правда“…» И дальше импровизировал, сочинял статьи и заметки, которые будут печататься в этой «Красногавайской правде».

На первое время Гумилев поселился на Ордынке в нашей с братом «детской» комнате. В те дни я общался с ним едва ли не пятнадцать часов в сутки. Я жадно ловил каждое его слово, впитывал всякое его суждение. Мы с ним ходили в пивную на Пятницкую, пили водку у нас в «детской»… Выпив рюмку-другую, он сейчас же закуривал и задирал ноги на тахту…

Сталина (а его личности разговор касался частенько) он называл по-лагерному — Корифей Наукович, свои лагерные сроки — «моя первая голгофа» и «моя вторая голгофа».

Мы едем с Львом Николаевичем по Ордынке в «шестом» автобусе. Пассажиров совсем немного. Вдруг я замечаю, что одна из наших попутчиц — высокая старая дама — смотрит на Гумилева не отрываясь и на лице ее смятение.

И тут я узнаю ее. Это Грушко, старая поэтесса, она живет неподалеку, в Голиковском переулке. Имени ее теперь никто не знает, но многие помнят одно из ее стихотворений, его положил на музыку и пел Александр Вертинский, — «Я маленькая балерина».

Дома я говорю:

— Анна Андреевна, мы ехали в автобусе с Грушко, и она буквально пожирала глазами Льва Николаевича.

Ахматова усмехнулась и произнесла:

— Ничего удивительного, у нее был роман с Николаем Степановичем, а Лева так похож на отца.

Лев Николаевич с детства обладал сильным сходством со своим родителем. Это видно на широко известной фотографии, об этом упоминает в своих воспоминаниях В. Ф. Ходасевич… Но в зрелые годы Гумилев стал похож на мать. Этому способствовало некое приключение на фронте. Было это, если я не ошибаюсь, в Польше. Лев Николаевич попал под минометный обстрел. Одна из мин угодила в какой-то деревянный настил, взрывной волной оторвало доску, и она угодила Гумилеву в самую переносицу. В результате этой травмы нос у него стал с горбинкой, точь-в-точь как у Ахматовой.

Анна Андреевна говорила:

— Лева рассказывал о войне: «Я был в таких местах, где выживали только русские и татары».

А сам Гумилев мне как-то сказал:

— Войны выигрывают те народы, которые могут спать на голой земле. Русские это могут, немцы — нет.

— В Ленинградском университете, — рассказывал Лев Николаевич, — шел экзамен. Одной студентке достался билет, в котором был вопрос о воззрениях Руссо. Ей подкинули шпаргалку. Но тот, кто это писал, букву «д» выводил, как «б», с

хвостиком наверх… И вот вместо того чтобы сказать «человек по природе добр», студентка заявила экзаменатору — «человек по природе бобр»… Это не только забавно, но и не лишено смысла. Я в этом убедился на собственном опыте. Как бобер возводит плотины и хатки, которыми ему, быть может, не придется воспользоваться, так и я писал в лагере научные труды без малейшей надежды на публикацию.

Лев Николаевич прочел мне коротенькое стихотворение. Но при этом подчеркнул, что автор не он. Строки эти я запомнил с его голоса, сразу и на всю оставшуюся жизнь:

Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
Это мало — чекистов,
Карателей,
Стукачей, палачей,
Надзирателей…
Чтобы нас охранять,
Надо многих нанять,
И прежде всего
Писателей.

Однажды Гумилев рассказал мне, что еще в юности решил стихов не писать, ибо превзойти в поэзии своих родителей он бы не мог, а писать хуже не имело смысла. Однако же способности к стихосложению были у него незаурядные. Я вспоминаю такую фразу Ахматовой:

— Мандельштам говорил: «Лева Гумилев может перевести „Илиаду“ и „Одиссею“ в один день».

Мы со Львом Николаевичем идем по Тверской улице и смотрим на памятник Юрию Долгорукому. (Мой спутник, вероятно, видит его первый раз в жизни.)

— Да, — произносит он, — об этом князе истории достоверно известны лишь три факта: то, что он основал Москву, а также, по словам летописи, был «зело толст и женолюбив».

Лев Николаевич говорит моему брату Борису:

— Я знаю, что такое актерский труд. Я вам так скажу: зимой копать землю труднее, чем быть актером, а летом — легче…

Гумилев рассказывал нам, что где-то в архиве хранится экземпляр «Путешествия из Петербурга в Москву» с пометками императрицы Екатерины II.

— Радищев описывает такую историю, — говорил Лев Николаевич. — Некий помещик стал приставать к молодой бабе, своей крепостной. Прибежал ее муж и стал бить барина. На шум

поспешили братья помещика и принялись избивать мужика. Тут прибежали еще крепостные и убили всех троих бар. Был суд, и убийцы были сосланы в каторжные работы. Радищев, разумеется, приговором возмущается, а мужикам сочувствует. Так вот Екатерина по сему поводу сделала такое замечание: «Лапать девок и баб в Российской империи не возбраняется, а убийство карается по закону».

Гумилев говорит:

— Я в науке, разумеется с вынужденными перерывами, уже почти четверть века. Я никогда не видел в советской науке борьбы материализма с идеализмом, борьбы пролетарской идеологии с буржуазной… У нас всегда была только одна борьба — борьба за понижение требований к высшей школе. И эта борьба дала свои плоды.

— Я сидел за своим рабочим столом в Эрмитаже. Это было в сорок восьмом году. Ко мне подошла сотрудница и говорит: «У нас подписка. Мы собираем деньги на памятник Ивану Грозному. Вы будете вносить?» А я ей отвечаю: «На памятник Ивану Грозному — не дам. Вот когда будете собирать на памятник Малюте Скуратову — приходите».

— Мама когда-то жаловалась мне на отца: «Сразу после женитьбы он уехал в Африку». Я ей говорю: «А как же можно было отказаться от экспедиции?» А она мне говорит: «Дурак».

— В двадцатых годах в одной из бесчисленных анкет был такой вопрос: «Есть ли у вас земля и кто ее обрабатывает?» Павел Лукницкий написал такой ответ: «Есть в цветочном горшке. Обрабатывает ее кошка».

По поводу событий на Ближнем Востоке:

— Раньше все было ясно, были семиты и антисемиты. А теперь все антисемиты: одни против евреев, другие против арабов.

Лев Николаевич пересказывал мне свой спор с одним ленинградским скульптором.

— Он мне говорит: «Вы как интеллигентный человек обязаны…» А я ему отвечаю: «Я человек не интеллигентный. Интеллигентный человек — это человек слабо образованный и сострадающий народу. Я образован хорошо и народу не сострадаю».

На столе бутылка водки и пироги с грибами. Лев Николаевич поднимает рюмку и чокается со мною.

— Ну, Миша, выпьем за то, чтобы Ира была хорошая.

(В его произношении — «Ива была ховошая».)

Сидящая с нами «Ива» (дочь Н. Н. Пунина от первого брака) кривится, Анна Андреевна хмурится.

Это происходит в августе 1958 года в Ленинграде, в квартире на улице Красной конницы, где жили Пунины и Ахматова, после того как их выселили из Фонтанного дома. Грибов мы набрали в Комарове, домработница по имени Анна Минна напекла пирогов.

В это время у Льва Николаевича уже была своя комната на самой окраине тогдашнего Ленинграда — в конце Московского проспекта. Про это место Ахматова отзывалась так:

— Лева живет на необъятных просторах нашей Родины.

В 1964 году я крестился. Это обстоятельство еще более сблизило меня с Гумилевым. В нем я встретил первого в нашем интеллигентском кругу сознательного христианина. Я помню, как поразила меня его короткая фраза о Господе Иисусе. Он вдруг сказал мне просто и весомо:

— Но мы-то с вами *знаем*, что Он воскрес.

Много позже я понял, что взгляды его, по существу, вовсе не православны. Хотя он-то, Царствие ему Небесное, был абсолютно убежден в обратном. Он, например, говорил мне, что определенность в религиозных воззрениях (узость) признак секты. А Церковь, дескать, на все смотрит шире. Теперь-то я бы ему ответил, что именно в Церкви, то есть в Писании и у Святых отцов, все определено, и притом весьма категорично. А что же касается до модной теперь «широты взглядов», то ни с какою широтой в «узкие врата», о которых говорит Христос, не пролезешь. Да что там говорить, сама по себе теория пассионарности не могла бы сложиться в голове христианина, качества превозносимых им пассионариев греховны, прямо противоречат евангельским заповедям.

Я очень живо вспомнил все это, когда сравнительно недавно прочел у Владислава Ходасевича об отце Льва Николаевича:

«Гумилев не забывал креститься на все церкви, но я редко видел людей, до такой степени не подозревающих о том, что такое религия».

Мне волей-неволей придется коснуться темы весьма печальной. В самые последние годы жизни Ахматовой у нее с сыном прекратились всякие отношения. В течение нескольких лет они не виделись вовсе. У них были взаимные претензии, и каждый был в свою меру прав. Однако же Льву Николаевичу следовало бы проявлять больше терпимости, учитывая возраст и болезненное состояние матери.

В самом начале 1966 года Лев Николаевич подарил мне свою статью «Монголы XIII в. и „Слово о полку Игореве“», опубликованную отделением этнографии Географического общества. Там много спорных утверждений, но главная идея, на мой взгляд, верна. «Слово…» отнюдь не произведение одного из

участников похода князя Игоря, а сочинение более позднее, призывающее на самом деле к борьбе не с половцами, а с другими «погаными» — с татарами.

Этой темы мы с Ахматовой коснулись в самом последнем разговоре о ее сыне. Я очередной раз навещал ее в Боткинской больнице. Она знала, что дружба моя с ним продолжается, и спросила:

— Ну как Лева?

— У него все хорошо, — отвечал я. — Между прочим, он датировал «Слово о полку Игореве».

— Ну вот в это я не верю, — отозвалась Анна Андреевна.

Наши близкие с Гумилевым отношения продолжались до 1968 года. Тогда в Ленинграде состоялось судебное разбирательство. Лев Николаевич как законный наследник оспаривал право Ирины Николаевны Пуниной распродавать архив Ахматовой. Я, как и почти все друзья Анны Андреевны, выступил на его стороне. Но, честно говоря, сам факт этого суда повлиял на меня очень сильно и в конце концов отбил охоту тесно общаться с Гумилевым.

В этом деле он действовал как-то странно, в течение продолжительного времени никаких шагов не предпринимал, в результате почти все бумаги Ахматовой были Пуниными распроданы и оптом и в розницу — и в государственные архивы и частным лицам.

Мы стоим на Фонтанке у здания Ленинградского городского суда. (Кстати, там в свое время помещалось Третье отделение собственной его величества канцелярии. Мой любимый А. К. Толстой писал:

Стоит на вид весьма красивый дом,
Своим известный праведным судом.)

Я говорю Гумилеву:

— В этой пунической войне (суд с Пуниными) вы вели себя, как Кунктатор.

Шутка приводит его в восторг.

— Я — Кунктатор!.. Я — Кунктатор! — повторяет он несколько раз и громко смеется.

Не могу умолчать тут об одном удивительном факте. Году эдак в семьдесят восьмом я пригласил двух гостей, его учеников, с которыми он меня в свое время и познакомил, — Гелиана Михайловича Прохорова и Андрея Николаевича Зелинского. (Друг друга они узнали, разумеется, тоже через Л. Н.) В ожидании их прихода я слушал Би-би-си. К тому моменту, когда гости

подошли к моей двери, дикторша принялась читать стихи Марины Цветаевой, и они переступили порог квартиры, по которой разносилось:

Имя ребенка — Лев,
Матери — Анна.
В имени его — гнев.
Волосом он рыж,
Голова тюльпана!
— Что же, осанна
Маленькому царю.

Примерно через полгода после того как это случилось, я поехал по делам в Ленинград. Там Прохоров предложил мне пойти на публичное выступление Гумилева. Состоялось оно на Васильевском острове, в роскошном здании на берегу Невы. До начала лекции я подошел к Л. Н. и рассказал о том, как мы трое слушали по радио стихи Цветаевой о нем. Он реагировал на это сообщение с некоторым даже неудовольствием:

— С вами, Миша, всегда происходит что-нибудь в этом роде.

Само его выступление (а я ни до, ни после его публичных лекций не слушал) произвело на меня несколько тягостное впечатление. Разумеется, говорил он блистательно — сыпал фактами, именами, датами, парадоксальными суждениями… Но все это как-то легковесно, несолидно, эдакий научный Аркадий Райкин, виртуоз на профессорской кафедре…

Сама же теория пассионарности, на мой взгляд, критики не выдерживает, ибо он объявлял явлениями одного и того же порядка и классическую греческую философию, и распространение ислама, и крестовые походы, и европейский Ренессанс.

Я, помнится, тогда же, после его выступления, поделился с Г. М. Прохоровым такой идеей: хорошо бы написать большой портрет Гумилева, а над ним лозунг «пассионарии всех времен — соединяйтесь!».

И все же я жалею Льва Николаевича. Он в определенном смысле опоздал. Будь он лет на десять, на пятнадцать помоложе, доживи до девяностых годов не дряхлым и расслабленным, а полным сил, его слова были бы слышнее, а слава громче. В наше смутное время «завиральные идеи» пользуются повышенным спросом. Пользуясь термином Пастернака, я могу утверждать, что Гумилев «мог бы в гораздо большей степени навязать себя эпохе».

Осенью 1991 года, когда он был еще жив, я специально включил телевизор, чтобы послушать Льва Николаевича,

взглянуть на него. Он вещал, сидя в садике на какой-то даче. Грустное это было зрелище. Он даже изумительный свой дар лектора утратил. В частности, сказал такое:

— Пассионарность передается половым путем. То есть по наследственности…

Услышав это, я телевизор выключил.

Но вот вспоминается мне день смерти Ахматовой — 5 марта 1966 года. Я был тогда в Ленинграде, вечером поехал в ее квартиру на улице Ленина.

Несколько позже моего появления — звонок. Дверь открывают и в прихожую входит Лев Николаевич. Он снимает шапку, смотрит на нас и произносит:

— Лучше бы было наоборот. Лучше бы я раньше ее умер.

Тогда же, в марте шестьдесят шестого, состоялся наш с ним единственный разговор об его отношениях с матерью, о причинах ссоры с ней. Было это на девятый день после смерти Анны Андреевны, мы поехали к нему домой после панихиды в Гатчинской церкви. Он мне сказал такую фразу:

— Я потерял свою мать в четвертый раз.

И далее перечислил: первый — какое-то отчуждение в 1949 году, второй — в пятьдесят шестом, сразу после освобождения, третий — последняя ссора, когда они перестали встречаться.

В тот день я получил от него подарок — пять фотографий. Первая — сорок девятого года, до второго ареста. Затем последовательно — тюремная, лагерная, где он держит дощечку со своим номером, еще лагерная из последних, с бородой, и наконец снимок пятьдесят шестого года, после освобождения. Помнится, он разложил это все на столе и сказал:

— Полюбуйтесь, путь ученого… Это — за папу… Это — за маму… А это за кошку…

XVIII

— Вот тут ты сделаешь два кронштейна, — говорит Ардов.

Он ведет карандашиком по чертежу.

— Ну-к что ж, исделаем, — степенно отвечает столяр Иван Капитонович.

— А здесь, — продолжает объяснения отец, — такую небольшую фанерную перемычку…

— Ну-к что ж, исделаем…

При подобных сценах мне приходилось присутствовать регулярно в детские годы и в юности. И. К. Сигунов был краснодеревцем, он следил за сохранностью хорошей мебели в нашей квартире, а кроме того выполнял многочисленные ардовские заказы — сооружал столики, полки, подставки под книги и т. д. и т. п.

Если замысел заказчика был ему по душе, Капитоныч степенно твердил свое «ну-к что ж, исделаем…», а коли нет, он повторял иронически: «Эшь ты!..»

Кончались эти диалоги почти всегда одинаково.

— Ну а материал-то у тебя есть? — спрашивает отец. — Доска у тебя такая найдется?

— Васька стибрит, — отвечал Капитоныч.

(На самом деле он употреблял глагол более выразительный.)

Васька был его помощником и обладал тем преимуществом, что работал на мебельной фабрике, а потому, как теперь бы выразились, для приватизации имел возможности почти неограниченные.

Иван Капитонович жил неподалеку от нас, в Толмачевском переулке, в крошечной квартирке без удобств, которую он соорудил себе сам на месте какого-то сарая. Году эдак в пятидесятом он овдовел, остались они вдвоем с сыном, впрочем, уже довольно взрослым.

Как-то мы с отцом зашли к Капитонычу в Толмачевский. Он сидел на своей кухне и беседовал с простой женщиной очень степенного вида. Это оказалась сваха, которая довольно скоро подыскала ему вторую жену — скромную, тихую и приятную.

Под конец жизни с Капитонычем случилась страшная беда — он совершенно ослеп, и у него как у инвалида появились права на улучшение жилища. Но осуществить это оказалось вовсе не просто, и вот тут ему помог Ардов.

Пока это дело тянулось, Капитоныч регулярно появлялся на Ордынке. Его приводила жена, та самая вторая, застенчивая и молчаливая. Отец звонил по телефону, печатал на машинке

письма и жалобы…

И вот хлопоты увенчались полным успехом, Капитоныч получил новую квартиру. Жена еще раз привела его, он принес отцу подарок, какую-то, помнится, шкатулочку, которую сам полировал, уже будучи слепым. Когда Ардов вышел из комнаты, Капитоныч сказал мне и брату Борису:

— Вот сколько у меня было заказчиков… У кого я только не работал… И никто мне не помог. Один он только мне помог…

И слезы катились по его незрячему лицу.

Однажды наш Капитоныч работал у писателя Владимира Дыховичного. Ему довелось реставрировать драгоценную вещь — декоративное корыто карельской березы. В какой-то момент он вытащил страшный ржавый гвоздь.

— Вот сукины дети! — воскликнул столяр. — Что делают!

— Да что ты говоришь? — отозвался хозяин. — Ведь это делали крепостные мастера в восемнадцатом веке!..

— Делали-то крепостные, — отвечал Капитоныч, — да ремонтировали-то вольные, так их мать…

Дверь отцовского кабинета раскрывается и в столовую выходит заспанный хозяин. Навстречу ему со стула поднимается плешивый человек с эдаким «кувшинным рылом». Это эстрадный актер С. Отец немедленно вступает с ним в игру. Изобразивши на лице удивление, отец говорит:

— Простите, вы кто такой?

С. почтительно наклоняет голову и произносит реплику из «Плодов просвещения»:

— От Бурдье…

Валерий С. регулярно появлялся на Ордынке в течение нескольких десятилетий. Был он человек одаренный, я, помню, как-то слышал в его исполнении рассказы Салтыкова-Щедрина. К Ардову он приходил заказывать репертуар и притом был весьма требовательным клиентом, заставлял переделывать и переписывать юморески.

Как-то Ардов говорит ему полушутя:

— Валя, почеши-ка мне спину.

— Ты, Виктор, с этим не шути, — серьезно отвечает С.

— А что такое?

— Был у меня, — продолжает тот, — дядя Павел. Он у нас с ума сошел. А тетя еще этого не знала. И вот она ему тоже говорит: «Павел, почеши мне спину». А он давай ей корябать — до крови. Шесть швов накладывали… Так что ты с этим не шути…

С. вечно попадал в какие-то истории.

Они с Ардовым не виделись в течение всех военных лет. Наконец встретились. С. осунувшийся, бледный…

— Валя, — говорит отец, — что с тобой? Как живешь? Рассказывай…

— Плохо, — отвечает тот.

— А что такое?

— Да я с балкона упал…

— Как же это?..

— Был я в гостях, думал, что там лестница… А это был просто балкон… Я шагнул и…

Как-то С. отдыхал в Сочи. Купаясь в море, он потерял вставную челюсть. Вышел на берег очень расстроенный, но кто-то тут же дал совет. Неподалеку купались местные мальчишки, их подозвали и попросили за вознаграждение поискать челюсть на дне.

Мальчишки бросились нырять, и один из них тут же нашел потерю. Он вынырнул на поверхность, высоко поднял руку с челюстью и крикнул: «Ваша?» — так, будто все дно в этом месте было усеяно челюстями.

— Я бы, конечно, мог себе достать галоши бесплатно, только хлопот много, времени жалко…

Это произносит К., моложавый и красивый, вполне пристойно одетый человек, который сидит на диване в нашей столовой.

— А как же это можно достать галоши — бесплатно? — спрашивает Ардов.

— Очень просто, — отвечает К. — Для этого надо одолжить у кого-нибудь одну галошу. Например, правую. После этого я еду в трамвайный парк в стол находок и предъявляю там эту одолженную галошу. «А левая, — говорю я им, — потерялась у меня во время давки в трамвае». «Ну ищите», — говорят они мне. А у них там потерянных галош целая гора. Вот я и подбираю пару к той галоше, что одолжил. Они составляют акт, и я ухожу. После этого я возвращаю правую галошу владельцу, а с левой еду уже в троллейбусный парк. И там заявляю, что потерял правую во время давки в троллейбусе… И они мне показывают свою гору галош… Но это все так канительно.

Этого человека я помню со времени своего отрочества. К. был администратором, устраивал Ардову выступления. Отец называл его жулик-неудачник. Был он притом совершенно неотразим для самой низшей категории дам. Но и на этом фронте его преследовали неудачи. К. бывал то и дело бит ревнивыми соперниками.

Вот он вздыхает и говорит:

— Мне тут предлагают заработать десять тысяч. Но я боюсь, уж больно дело ненадежное…

— А что надо сделать?

— Надо поджечь здание артели… Это тут недалеко — в Малаховке. Они там проворовались, а теперь хотят замести следы… Поджечь, конечно, можно… Но евреи очень хлипкие, на следствии расколются, сами же все и расскажут…

— Нет, — произносит Ардов, — так жалобы не пишут…

Он кладет бумагу на стол.

Перед ним на диване сидит просительница, она смотрит на него умоляюще и с надеждой.

— Я вас сейчас научу, как надо писать жалобы, — говорит отец. — Если вы вступили с кем-нибудь в бумажную войну, вы должны адресовать свои письма одновременно во все те инстанции, куда их может переслать вышестоящее начальство. Вот, например, вы жалуетесь в ЦК партии. На вашем письме должно значиться: копия — в МК партии, копия — в Моссовет, копия — прокурору Москвы, районному прокурору и т. д. и т. п.

У Ардова был огромный интерес к жизни и к людям, а также доброта, желание активно помогать нуждающимся. Среди потока приходящих к нему людей немало было ищущих защиты и помощи. Но по доброте своей и отзывчивости к чужому горю Ардов иногда попадал в положения двусмысленные.

Как-то на Ордынке появилась убитая горем женщина. Ее сын был осужден по довольно жуткому делу. Этот молодой человек в компании своих подвыпивших приятелей оказался на какой-то квартире. Там они все стали приставать к пришедшей с ними девице, а та от испуга бросилась в окно и разбилась насмерть. Так вот мать одного из них умоляла Ардова похлопотать о снижении тюремного срока, к которому приговорен был ее сын. Он, кажется, пытался урезонивать своих дружков и к несчастной этой девчонке не приставал. Отец взялся помочь, и в конце концов приговор парню пересмотрели.

Через несколько дней после того как Ардов взялся помогать несчастной матери, на Ордынку явился пожилой, весьма респектабельный господин. Он тоже просил помощи. Муж его юной внучки, кажется, актер, из ревности убил свою жену. За это он получил продолжительный тюремный срок. Суть же просьбы деда была в том, чтобы добиться для него смертной казни. К удивлению моему, Ардов было взялся помочь и в этом деле.

Когда проситель удалился, я сказал отцу:

— У тебя есть какие-нибудь принципы? В одном случае ты хлопочешь о том, чтобы наказание стало мягче, а в другом будешь добиваться, чтобы человека казнили?..

Ардов смутился и, помнится, об ужесточении приговора хлопотать не стал.

Вот эта, я бы сказал, беспринципная отзывчивость, готовность

помочь любому просителю вне зависимости от сути дела, в конце концов имела печальные последствия…

После смерти Ахматовой все ее бумаги были переданы Ирине Николаевне Пуниной и ее дочери. Дамы эти были чем-то вроде семьи Анны Андреевны, каковое обстоятельство и вызывало обиду ее родного сына и наследника.

Получив в свое распоряжение весь архив, Пунины свою добычу припрятали, а потом стали распродавать по частям. Лев Николаевич решил этому воспротивиться и подал в суд. И тогда эти торгующие дамы притворились кроткими овечками, они обратились за помощью к Ардову, и родитель мой покойный написал позорнейшее письмо в ленинградский суд. Там он не только с жаром защищал Пуниных, но и порицал Л. Н. Гумилева… И все это на уровне политического доноса. Срам-то какой!..

XIX

Виталий Иванович Войтенко победно оглядывает нас, своих юных собутыльников, и кричит, кричит с неповторимой интонацией:

— Реже мечите, малолетки!

А потом вдруг резко поворачивается ко мне — и скороговоркой, скороговоркой:

Наш маленький Мотл
Нигде не работл!
Нигде не работл
Наш маленький Мотл!

Мы, двадцатилетние, смотрим ему в рот. Мы готовы без конца слушать его военные и лагерные истории, в которых, как мы позднее сообразили, реальность искажалась самым прихотливым образом.

Из всех тех, кого я именую тут клиентами Ардова, он один вошел в нашу с братом Борисом компанию, стал своим человеком в «детской», отчасти верховодил. В те годы он неплохо кормился тем, что был разъездным администратором, возил по бескрайним сибирским и казахстанским просторам бригады артистов, среди которых непременно должна была быть хоть какая-нибудь, хоть второсортная, хоть в тираж вышедшая, но — знаменитость.

На худой конец, у Войтенко была жена, исполнительница русских песен, которая выступала под именем Зинаиды Руслановой. В тех, как выражаются администраторы, «мухосраловках» и «запердяевках», где устраивались эти концерты, она проходила как «дочка Лидии Руслановой».

Войтенко любил повторять:

— Искусство в массу, деньги в кассу.

А «Систему Станиславского» он называл «Система Сандуновского»…

Легенда его, которую он нам внушал во время застолий в «детской» комнате, была такова. Он, дескать, был во время войны летчиком-штурмовиком высочайшего класса и получил множество наград. Когда же война победоносно завершилась, Войтенко будто бы принял не в меру активное участие в «пире победителей», угодил под трибунал и получил лагерный срок…

Относительно скоро после появления в нашей компании он снова отправился в места не столь отдаленные. В московском

городском суде рассматривалось дело «якутского эстрадно-концертного бюро», Войтенко был одним из подсудимых и получил лагерный срок. На суде, надо сказать, он держался великолепно. При вынесении приговора жена, «Зинаида Русланова», заревела, а он заорал ей со скамьи подсудимых:

— Не позорься перед фраерами!

Через несколько месяцев на Ордынку пришло от него письмо из лагеря, написано оно было в форме киносценария. Я запомнил оттуда такую фразу: «Зарплата мне тут положена двадцать пять рублей, из них шестнадцать вычитают на зори коммунизма».

Мы с братом воодушевлены идеей… Мы сочиняем стихотворные лозунги… Борис пишет их на ватманской бумаге… Мы возимся с проводкой… Мы бежим на Пятницкую в книжный магазин и покупаем там политические брошюры…

И уборная в квартире на Ордынке преображается. Там появляется полка с брошюрами, там висит репродуктор, который не смолкая бубнит про «наши достижения»… Там красочные лозунги:

Превратим наши сортиры
В главполитпросвет квартиры!
Отправляя здесь нужду
(физиологическую),
Не забывайте про вражду
(социально-политическую)!

Смеху было много, но все это просуществовало лишь несколько часов. Родители наши и Ахматова признали шутки небезопасными, и сортир на Ордынке снова стал самым прозаическим местом.

Раннее утро. Я лежу в кровати, а брат Борис уже встал и собирается в институт.

В дверях нашей «детской» комнаты появляется высокий юноша с красивым и умным лицом. Это семнадцатилетний Александр Нилин. Он зашел за Борисом, они теперь вместе учатся в школе-студии МХАТа. Он стоит, я лежу, и мы с ним перебрасываемся шутками.

Наше такси очень медленно движется по улице Горького… Шофер ищет место для стоянки, но все забито — машин полно. Мы с приятелями хотим забежать в магазин «Армения», купить там коньяку и копченого мяса… Дело происходит 5 ноября, мы собираемся ехать на дачу, проводить там «праздники».

По лобовому стеклу автомобиля бегут струйки, на улице ветер и сильный дождь. Один из нас говорит:

— Ну почему в этой стране всегда все хуже, чем у прочих? Почему они устроили свою революцию в октябре?.. Вот во Франции Бастилию взяли летом, четырнадцатого июля… В Америке праздник — четвертого июля. А тут обязательно — грязь, сырость…

И вдруг к нам поворачивает голову шофер, он только что пристроил машину у тротуара.

— Это все в наших руках, — говорит водитель. — Праздник можно и переменить…

Это звучит не только неожиданно, но и страшновато.

Был у нас в те годы приятель несколько постарше нас. Он люто ненавидел советскую власть, в особенности наших «дорогих вождей». Во всяком застолье он произносил свой излюбленный тост — поднимал рюмку и говорил:

— Чтоб они сдохли!..

Как-то мы уселись выпивать в Международный женский день, 8 Марта. Наш друг поднял рюмку и не без галантности произнес:

— Ну, за их вдов!

Я произношу ахматовские строки:
Темнеет аллея приморского сада,
Свежи и желты фонари…

Сама Анна Андреевна сидит на диване и посмеивается. А я продолжаю в мужском роде:

Я очень спокойный, но только не надо
Со мной о любви говорить…

Тут Ахматова смеется сильнее и даже на какое-то мгновение закрывает лицо руками.

Это было в тот вечер, когда я вернулся с концерта Вертинского и рассказывал Анне Андреевне, как он переиначивает ее стихи.

Я иду вдоль Манежа, справа Александровский сад и кремлевская стена… И так почти каждое утро. Это мой путь от остановки автобуса № 6 до старого здания университета.

И вот мне приходит в голову мысль: отчего я всякий раз иду именно с этой стороны, а не с другой, не по Моховой улице?.. Ответ прост: я подсознательно оттягиваю тот момент, когда станет видна цель моего ежеутреннего путешествия.

На Ордынке — торжественный ужин. Стол накрыт белой скатертью и сервирован со всем возможным старанием.

На диване рядом с Ахматовой сидит нарядный и важный гость. Это академик Виктор Владимирович Виноградов, Виноградыч, как называет его Анна Андреевна за глаза. Он, как всегда, пришел с женой Надеждой Матвеевной. Она дама, приятная во всех отношениях, но притом донельзя светская. На фоне ее милой болтовни реплики самого Виноградыча звучат особенно ехидно. Вот он смотрит на мою сверхскромную персону и произносит:

— Молодой человек, где вы учитесь?

— В университете, — отвечаю я, — на факультете журналистики…

— Да, да, — отзывается академик, — есть такой факультет… Только к университету, к науке никакого отношения не имеет…

Однорукий лысый человек, декан нашего факультета Евгений Лазаревич Худяков, доверительно смотрит на слушателей и произносит:

— Вот мы здесь все свои… Нету никого посторонних… И потому я могу вам сказать с предельной откровенностью: «Правда» — это наша лучшая газета…

Откровения подобного рода он во множестве преподносил нам на каждом занятии. Предмет, им преподаваемый, назывался прямо по Александру Зиновьеву: «Теория и практика партийно-советской печати». (И уж воистину где кончалась теория и начиналась практика, различить было решительно невозможно.)

Очевидно, чтобы бывать на факультете пореже, Худяков читал нам свой убийственный предмет по четыре часа кряду. Выдерживать это можно было только так: сесть подальше от лектора и положить на колени интересную книгу. И еще характерная деталь. Лекции эти всегда происходили в аудитории, называвшейся Большая зоологическая. Как видно, для классов «антропологических» наша «теория и практика» не вполне подходили.

Я благополучно окончил факультет журналистики в 1960 году, но никаких особенных знаний и навыков оттуда не вынес. Почти все предметы были никчемные, а преподаватели за редкими исключениями — ничтожные.

У нашего декана был любимый афоризм, который он повторял к месту и не к месту:

— Газету надо делать чистыми руками.

Один из факультетских острословов как-то заметил:

— Наверное, по этой причине Худякову и отрубили одну руку.

Мы идем по самой середине мостовой, но машины нас не обгоняют и никто не попадается навстречу — улица Ордынка

совершенно пуста и разукрашена красными тряпками. Из репродуктора доносится бравурная музыка. Это 1 Мая.

Через полчаса начнется на Красной площади парад, и тогда по Ордынке покатят танки, пушки, ракеты… Здесь будет жуткий грохот, дым и вонь…

А потом возле мавзолея будет «демонстрация трудящихся», и сюда хлынут толпы оживленных людей с бумажными цветами и гирляндами столь же ненатуральными, как их патриотические чувства…

А пока Ордынка пуста, безлюдна на всем своем протяжении. И вот мы, вся наша компания, приближаемся к цели — к пивной на Серпуховской площади.

Тут тоже пока немноголюдно, два-три посетителя. Мы усаживаемся у окна, появляются пенные кружки, и старый официант Павел Яковлевич ставит на мраморный столик целое блюдо раков. Александр Нилин поднимает одного за красную клешню и произносит:

— Раки большие, как голуби…

Павла Яковлевича, официанта с Серпуховки, я запомнил на всю жизнь. Я всегда ценил в людях профессионализм, а он обладал этим качеством в высочайшей степени. Он работал в пивных с четырнадцати лет, и как работал!.. Павел Яковлевич, например, демонстрировал нам такой трюк — поднимал в двух руках дюжину пива, в каждой по шесть полных кружек.

С ним даже и разговаривать было необязательно. Он обычно стоял, прислонившись спиною к кафельной печке, — невысокий, стриженый, в белой официантской курточке. Достаточно было повернуть голову и только взглянуть на него, как он исчезал и тут же появлялся, абсолютно точно угадав не высказанное посетителем желание. Приносил пиво, раков, соленую рыбу, сухарики, моченый горох…

Однажды, помнится, у нас кончились деньги, а уходить не хотелось. Тогда кто-то предложил: не попросить ли у Павла Яковлевича взаймы?.. Эта фраза еще толком и произнесена не была, как сам старый официант приблизился к нашему столику и спросил:

— Может быть, вам в долг чего-нибудь подать?

XX

Мы сидим за чинным завтраком в доме Д. Д. Шостаковича. За столом сам композитор, его жена, сын Максим, я и еще два наших общих приятеля. Все молчат, тишина довольно напряженная. И тогда Максим обращается ко мне:

— Мишка, расскажи какой-нибудь анекдот, ты их все знаешь…

Реплика повисает в воздухе, молчание становится еще тягостнее.

А дело было так. Максим Шостакович устроил холостяцкую пирушку, которая затянулась далеко за полночь, и мы все остались у него ночевать. А рано утром нежданно-негаданно пожаловал с дачи Дмитрий Дмитриевич с супругой, и нас, заспанных и не вполне протрезвевших, усадили за табльдот.

Мой старый приятель Максим Шостакович — один из самых артистичных людей, каких я знаю. Темпераментный, живой, веселый, он не столько рассказчик, сколько «показчик», имитатор, и притом весьма наблюдательный. Если бы он не стал музыкантом, он мог бы быть замечательным актером. К сожалению, на бумаге невозможно передать почти ничего из того, чем он нас так веселил и радовал. Помню, например, как Максим изображал толстого болгарского полицейского, который завязывает шнурок на ботинке. Одну ногу поставил на стул, а наклонился к другой, той, что была на полу…

Или такой трагикомический этюд.

Максим изображал человека, который идет по улице и несет под мышкою маленький детский гробик. Навстречу ему незнакомая молодая женщина катит коляску с грудным младенцем. Прохожий деловито заглядывает в коляску и бодрым голосом спрашивает у оторопевшей матери: «Это кто у вас? Мальчик?.. Девочка?..»

В шестидесятых годах Максим Шостакович с компанией друзей смотрел какой-то жуткий фильм об Эрнсте Тельмане. Кульминационным местом этой ленты был такой эпизод. Гестаповцы ведут Тельмана по тюремному коридору. И там он случайно встречает другого конвоируемого узника — Димитрова. Их разводят в разные стороны, и они кричат друг другу в гулком помещении: «До свидания, Эрнст Тельман!» — «До свидания, Георгий Димитров!»

— Будь здоров, Отто Нушке! — заорал во всю глотку из зала Максим.

(Был тогда такой функционер в Восточном Берлине.)

В те далекие времена я регулярно видел и самого Дмитрия Дмитриевича. Но нельзя сказать, чтобы кто-нибудь из нас общался с ним. Разумеется, он был с нами, приятелями сына, очень вежлив, но от него всегда исходило какое-то ужасающее напряжение. Был он, как я понимаю, неврастеник и человек глубоко несчастный. Ведь и музыка его вполне неврастенична, лучше всего он передает «страх и трепет». Я полагаю, он совершенно не переносил одиночества, а потому ему непременно надо было состоять в браке. После смерти первой жены, матери его детей, он не женился довольно долго. А потом, уже на моей памяти, у Шостаковича появилась очень странная, мягко выражаясь, супруга. Звали ее Маргарита, в прошлом она была комсомольским работником. Лучше всего ее характеризует такая фраза:

— Мой первый муж тоже был музыкант. Он играл на баяне.

Довольно скоро у этой дамы произошел конфликт с детьми Дмитрия Дмитриевича, и она была удалена. Притом даже бракоразводного процесса не последовало, ибо тут выяснилось, что она оформила свой брак с Шостаковичем, не расторгнув до конца союз с баянистом.

Дмитрий Дмитриевич в высокой степени обладал чувством юмора. Я с удивлением узнал от Максима, что у него была излюбленная цитата из раннего ардовского рассказа. Новелла эта называется «Лозунгофикация» и сплошь состоит из пародийных стихотворных призывов. Так вот, если на кухне слышался шум или грохот, Шостакович всякий раз возглашал:

Граждане, на кухонном фронте
Горящий примус не уроньте!

Во время войны Дмитрий Дмитриевич был в Куйбышеве, там он увидел и запомнил такое замечательное объявление: «С 1 октября открытая столовая здесь закрывается. Здесь открывается закрытая столовая».

Как-то Шостакович с сыном заехали в управление по охране авторских прав. Там они увидели Жана Поля Сартра, который очень внимательно и деловито пересчитывал свой гонорар — изрядное количество крупных купюр. Наблюдая эту сцену, Дмитрий Дмитриевич тихонько сказал Максиму, перефразируя популярные в те годы слова Ленина:

— Мы не отрицаем материальную заинтересованность при переходе из лагеря реакции в лагерь прогресса…

В шестидесятых годах на какой-то фестиваль приехал из Индии очень богатый и знаменитый в своей стране композитор.

Писал он главным образом музыку к кинофильмам. Его познакомили с Шостаковичем. Индус, между прочим, сказал:

— Вы, наверное, платите очень много денег вашему помощнику?

— Какому помощнику? — удивился Дмитрий Дмитриевич.

— Ну, тому, кто записывает ваши мелодии…

— Я сам записываю свою музыку, — сказал Шостакович.

— Как? — поразился индийский гость. — Вы даже ноты знаете?!

Я вспоминаю, Шостакович-младший пригласил меня на генеральную репетицию «Леди Макбет Мценского уезда» в Ленинградский малый оперный театр. Там он обратил мое внимание на одно примечательное место в этой опере.

Его отец, как объяснил мне Максим, всю жизнь терпеть не мог музыки Чайковского. Но по вполне понятным причинам никогда не смел высказать это открыто. И все же он это выразил. Шостакович сам написал либретто для «Леди Макбет», там преступление Сергея и Катерины открывается так. Во время их свадьбы пьяненький мужичок ищет, чем бы поживиться, и открывает крышку колодца, где лежат смердящие трупы. И тогда мужичок начинает петь на тот самый мотив, с которого начинается увертюра оперы «Евгений Онегин»: «Какая вонь!.. Какая вонь!.. Какая вонь!.. Какая вонь!..»

Все семейство Шостаковичей долгие годы пользовалось услугами частной зубной врачихи, дамы с какой-то замысловатой двойной фамилией. Она практиковала в своей крошечной квартирке, где прихожая была также местом ожидания для пациентов, а единственная комната — и жильем и кабинетом. Вместе с дантисткой там жила старая прислуга, которая исполняла обязанности санитарки.

Как-то Максим Шостакович проснулся утром с сильной зубной болью. Он решил отложить все дела, сел в машину и поехал к врачихе. Войдя в прихожую, он застал там обычную картину. На диванчике сидели две пожилые женщины и потихонечку переговаривались. Очевидно, дожидались своей очереди. Максим тоже присел на стул.

Через некоторое время из комнаты вышла прислуга и обратилась прямо к нему:

— Ну что же вы здесь сидите?.. Проходите, пожалуйста…

Максим последовал за ней, но так и замер на пороге. Посреди комнаты он увидел стол, на нем гроб, в котором лежала старая дантистка. Постояв несколько минут, мой приятель повернулся и отбыл с зубной болью восвояси…

XXI

В мое время, в пятидесятых годах, на гуманитарных факультетах в университете существовала военная кафедра, и мы, пройдя курс, становились младшими лейтенантами запаса. Преподаватели, в основном полковники, были презабавные, приструнить они нас толком не могли, а потому занятия проходили очень весело.

Полковник по фамилии Ахлестин имел к тому же и комическую внешность: курчавая шевелюра, широкий нос — совершеннейший лев с замкового камня на нашем старом здании.

Вот он заглядывает в свой конспект и произносит:

— В случае атомного нападения трупы собираются в закрытом помещении и не показываются на глаза родственникам…

Я складываю перочинный нож и любуюсь своей работой. На серой доске только что вырезанная мною надпись: «Я тот солдат, который не хочет стать генералом».

Я стою под грибком, я — дневальный.

Это было в лагерях под Тверью, на Волге, в Таманской дивизии. Там я довольно быстро освоился и постиг важную закономерность. У армейской системы есть множество возможностей давить на человека, но только если ты составляешь часть какого-нибудь из ее подразделений — взвода, роты, полка… А коли ты по какой-нибудь причине оказался вне этого — заболел, отстал от части и т. п., у этой страшной машины против тебя почти нет средств. Как говорит русский народ, мышь копной не придавишь.

По этой самой причине я немедленно вызвался быть дневальным — четыре часа стоишь под грибком, четыре спишь, четыре бодрствуешь, а на самом деле опять-таки спишь где-нибудь на свежей траве, подложив под щеку пилотку…

В памяти моей всплывают полузабытые лица офицеров…

Бодрый капитан Самоделко…

Унылый лейтенант Тюгушев…

В сравнении с этими вояками наши университетские полковники выглядели энциклопедистами.

Замполит полка говорит нам доверительно:

— Хорошо бы комсомольское собрание собрать, да вот нет аквариума…

(Он так произносил слово «кворум».)

В военных лагерях я побывал дважды, в двух, кстати сказать, Таманских дивизиях — под Тверью и в Алабине, в Подмосковье.

В Алабине мы с моим другом Геннадием Галкиным прибыли с некоторым опозданием и сразу же попали на совещание к командиру батальона. Там шла речь о предстоящих учениях с боевой стрельбой. Между прочим, наш командир сказал следующее:

— Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы во время этих учений кого-нибудь из солдат убило. В этом случае могут снизить оценку всему батальону.

Лет почти двадцать спустя, уже в конце семидесятых, я снова попал в Тверь. В тамошнем соборе была хиротония, моего друга В. С. посвящали в диаконский сан. И уже после долгого обеда в гостеприимном архиерейском доме у покойного владыки Гермогена я отправился на вокзал, чтобы ехать в Москву.

Был душный, пыльный летний вечер. На перроне многолюдство и толчея… И тут я заметил военный патруль — офицера и двух солдатиков, которые, изнемогая от жары, брели вдоль состава… Вдруг я понял, что они служат в той самой, в моей Таманской дивизии. А надо сказать, вид у меня был уже почти поповский борода, длинные волосы… Но я не выдержал и по-военному гаркнул:

— Таман-цы!

Они, бедняги, вздрогнули и инстинктивно подтянулись…

Я вхожу в подъезд углового дома на Арбате. Лифт довозит меня до последнего, шестого этажа.

Я нажимаю на кнопку звонка, мне открывают дверь квартиры и указывают на комнату, которую занимают Галкины.

Я стучусь и вхожу.

Мой сокурсник по университету Геннадий лежит на диване. При виде меня он поднимается, выпрямляется во весь свой исполинский рост, и просторная комната сразу становится тесной.

Это произошло в 1958 году, на день Святой Пасхи.

Мы учились с Геннадием Галкиным на одном курсе, его нельзя было не заметить в довольно серой толпе студентов — рост почти два метра, лицо красивое и умное. Был он тогда несколько застенчив. Как мне представляется теперь, это свое качество он не преодолел вполне до самой смерти, а потому и наличествовала в нем нарочитая, несколько напускная грубость.

Тогда же, весной пятьдесят восьмого, мы с ним сблизились, виделись почти каждый день — ходили пить чешское и отечественное пиво, а также кое-что покрепче. Тут я его и познакомил с Александром Нилиным и вообще со всей нашей компанией.

В 1960 году мы окончили университет, и Галкин со своей

женой, тоже нашей сокурсницей, уехал на работу в Якутск, в тамошнюю республиканскую газету. Года через два Геннадий вернулся в Москву, он был полон якутских впечатлений и рассказов, порой весьма занимательных. Мне особенно запомнились два.

Поскольку в Якутске Галкин пил столь же регулярно, как и в Москве, то он попал в довольно обширную компанию людей, связанных этим времяпрепровождением. И вот среди них появился отстраненный от полетов за пьянство летчик гражданской авиации по имени Борис Коганер. Однако же через некоторое время он от компании отстал, каковому обстоятельству никто из собутыльников особенного значения не придал. Далее Галкин рассказывал:

— Лечу я как-то по редакционному заданию в Мирный. А там посадка в Олекминске. А в аэропорту в Олекминске, это я точно знал, в буфете всегда бывают крутые вареные яйца и водка. Для Якутии лакомство необычайное. Вот лечу я и думаю: «Сейчас выпью сто пятьдесят граммов и съем три крутых яйца». Сели. Иду в буфет, вижу — яйца есть, водка тоже. Стоит небольшая очередь. И вдруг смотрю, впереди стоит мой приятель — Боря Коганер… Мы друг другу обрадовались, взяли уже не по сто пятьдесят, а бутылку и десяток яиц. Сидим, выпиваем, разговариваем… Тут я говорю ему: «Постой, как бы мой самолет не улетел». А Боря меня спрашивает: «Ты куда летишь?» «В Мирный», — говорю. «Так что ж ты волнуешься, ведь я этот самолет веду». И вот тут у меня рука дрогнула — наливать еще или не наливать…

Галкин говорил, что в конце концов летчик Борис Коганер все же разбился.

А вот еще рассказ Галкина:

— Прилетаю я в командировку в Верхоянск. В самый разгар лета, в июле. Это зимой там полюс холода, а летом тридцать с лишним градусов жары… Утро, я с жуткого похмелья… Иду в пиджаке, путом обливаюсь, а раздеться до рубашки нельзя — комаров тучи… Дома все деревянные, пылища, улица немощеная. И вот она уже кончается и переходит в пыльную проселочную дорогу, которая скрывается за горизонтом… А в последнем двухэтажном доме располагается местная музыкальная школа… По случаю жары все окна настежь, и из них доносится музыка, детские упражнения. Все вместе — какофония ужасная… И под этот немыслимый аккомпанемент на противоположной стороне улицы хряк кроет свинью… Я смотрю на все это и думаю: «Ну вот приехали — здесь конец света».

В шестидесятом году вместе с Галкиным отбыл в Якутск и другой наш близкий приятель, Леонид Лейбзон. Поначалу он со

своей женой тоже работал в республиканской газете. Встала морозная сибирская зима, и как-то Леонид с женой решили посетить местный драматический театр. Они попытались купить билеты, но выяснилось, что это совершенно невозможно. Все продано на месяц вперед. Но так как они были работники газеты, места все же удалось раздобыть. И вот Лейбзон с женой отправились в театр.

Шла какая-то пьеса Островского. Спектакль оказался ужасным. Но самое любопытное состояло в том, что в зале было очень мало народу… И лишь в антракте они сообразили, в чем тут дело. В фойе стояли две длинные очереди — в мужской и в женский туалеты. Этот театр был одним из немногих зданий в городе, где был теплый сортир, ватерклозет, тогда как повсюду — выгребные ямы с дощатыми кабинками… И во время самых страшных пятидесятиградусных морозов местные жители не жалели денег на театральные билеты, лишь бы справить свою нужду в теплом месте. А к концу представления ни в зале, ни во всем театре почти никого не оставалось.

Хорошо было бы рассказать это Станиславскому. Дескать, не всегда и не везде театр начинается именно с вешалки…

Ардов в течение всей своей долгой жизни никогда не курил и не пил. Причиною тому в большой степени была его врожденная болезнь — порок сердца. А потому он не мог, не умел отличать пьяного человека от трезвого. Разумеется, если этот пьяный более или менее связно говорил и стоял на ногах.

Как-то раз, когда нас с братом не было, на Ордынку забрели два наших приятеля. Были они в сильном подпитии, но отец, как всегда, этого не заметил. А тут, как на грех, перегорела в столовой лампочка, и Ардов попросил пришедших молодых людей ее заменить.

Те принесли стремянку, стали устанавливать ее под люстрой с нарочитым старанием и массой лишних движений. Потом один полез наверх, другой принял у него перегоревшую лампочку и подал новую… Но все это так неловко, что одна из них упала на пол и разбилась.

Ардов, который с недоумением наблюдал за действиями своих гостей, воскликнул:

— Вы что — клоуны?!..

Мы, как всегда, сидим в своей «детской» комнате, выпиваем и шутим. Среди нас сегодня Анатолий Найман, он только что выписался из больницы, из кардиологии, так что пить ему нельзя. Но шутить — сколько угодно.

— А хотите, — говорит он, — я вас познакомлю с медицинскими сестрами из своей больницы?.. Там чудные

девушки-медсестры.

— Толя, — говорит один из нас, — познакомьте нас с медицинскими сестрами. Мы их будем «любить, как сорок тысяч братьев»…

У нас ценились именно такие шутки. Ну, например:

«Фотография. Лев Толстой и Айседора Дункан. Оба босиком. (Редкий снимок.)».

Рождались у нас и стихотворные пародии.

Юноше, обдумывающему житье,
Делать жизнь по-каковски,
Смотри, говорю, не кончи ее,
Как горлопан Маяковский.

Самая первая в Москве алкогольная лечебница помещалась на улице Радио. Это обстоятельство позволило нам так перефразировать «лучшего и талантливейшего»:

Выпивка — та же добыча радия,
Еще сто грамм — и на улице Радио.

Ради красного словца мы не щадили даже саму Ахматову. Ее известные строки:

Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка озорной,
мы решительно упростили:
Я с тобой не буду пить вино,
Потому что ты мальчишка и г…

Было у нас открытие, относящееся одновременно к блоковедению и ахматоведению. Некто будто бы выяснил, что стихи Блока, которые начинаются со строк:

В голубой далекой спаленке
Твой ребенок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
И часы остановил…

посвящены Ахматовой.

Найден якобы еще один вариант стихотворения, и первая строка там такая:

В голубой далекой *горенке*.

(Как известно, Горенко — девичья фамилия Анны Андреевны.)

Соответственно иной была и третья строка:

Тихо вылез карлик *голенький*…

Ахматова иногда повторяла некрасовские строки:

Кто снимал рубашку с пахаря,
Крал у нищего суму…

Я помню, как она смеялась, когда я предложил ей нашу редакцию:

Кто снимал рубашку *с хахаля*…

И еще — «Вариации на темы русских поэтов»:

В парке бабье лепетанье,
Трели соловья,
На веревке колыханье
Мокрого белья…

На Ордынке появился очередной номер альманаха «День поэзии». Среди прочей чепухи в нем было стихотворение Е. Долматовского про аэропорт в монгольской столице. Там появляются три пьяных американских туриста, которые шокируют публику. Самый конец цитирую буквально:

А третий (дам простить прошу
За то, что о таком пишу)
У азиатов на виду
Справляет малую нужду.
С презреньем смотрит Азия
На это безобразие.

В первый же вечер, когда собралась наша компания, один из приятелей набрал номер телефона Долматовского и вкрадчивым

голосом спросил:

— Могу я поговорить с Евгением Ароновичем Долматовским?

— Я у телефона, — ответили ему.

— С вами говорит первый секретарь посольства Китайской Народной Республики Сунь Хо…

— Я вас слушаю, — почтительно отозвался поэт.

— Чрезвычайный и полномочный посол Китая в СССР поручил мне довести до вашего сведения, что «с презреньем смотрит Азия на ваше безобразие».

— Неудачно шутите! — взревел Долматовский и бросил трубку.

XXII

Он сидит в глубоком мягком кресле с газетой в руках. Полосатая пижама, домашние тапочки. Коротко стриженная седая голова, лицо выражает значительность, серьезность и ум. Взгляд из-под седых бровей я назвал бы свинцовым. Вот он опускает сложенный газетный лист, делает плавное движение правой рукой и раздельно произносит:

— Э!.. Ба-рах-ло…

Это его обычная реакция на все явления современной жизни, почти на всё, что он слышит от близких, читает в прессе или видит по телевизору:

— Э!.. Ба-рах-ло…

С отставным генералом госбезопасности Дмитрием Аркадьевичем Ефимовым я познакомился в пятидесятых годах и регулярно общался в течение нескольких лет, поскольку на его младшей дочери Наталье был некоторое время женат мой близкий приятель. Лет Ефимову в ту пору было за пятьдесят, и нам, студентам, он казался глубоким стариком. Этот человек притягивал меня к себе, ибо принадлежал к миру Лубянки, к тому, что пугало нас всех, но и завораживало своей безмерной властью.

Если суммировать мои впечатления о Ефимове, то он напоминал мне нож гильотины. Не само устройство, не некое техническое изобретение, а именно нож — карающий, беспощадный… Была в нем при всей профессиональной хитрости и уме какая-то удручающая примитивность, прямолинейность. Чувствовалась абсолютная готовность исполнить любой приказ.

Вот он сидит в своем кресле и медленно поднимает взгляд от газеты «Правда». Лист опускается ему на колени…

— Да, — произносит генерал без тени юмора, — в Америке пролетарская революция пока невозможна… Империализм там еще очень силен…

Мы втроем стоим у плиты на небольшой кухоньке в генеральской квартире. Сам Ефимов, его зять и я. Генерал собственноручно снимает большую эмалированную кастрюлю с огня.

— А теперь они должны настояться… Надо подождать минут двадцать…

Ефимов, уроженец Дона, учит нас, молодежь, варить со специями и есть раков.

Биография у него была совершенно удивительная. Был он сыном священника, каковое обстоятельство в свое время его

карьере вредило. Притом настоящее его отчество было не Аркадьевич, а Ардалионович. Но он еще до войны имел ромб в петлице, то есть был на Лубянке генералом.

В самом конце тридцатых годов его послали в Ригу, он был там резидентом. Работал он под видом коммерсанта, был компаньоном какого-то предприимчивого латыша. Можно себе вообразить удивление и ужас этого человека, когда его скромный партнер по бизнесу после известных событий 1940 года вдруг стал министром госбезопасности Латвийской ССР.

Генерал Ефимов был одним из тех, кто лично предупреждал Сталина о готовящемся нападении Германии. В апреле 1941 года в своем персональном вагоне он прибыл в Москву и делал сообщение на Политбюро. Он говорил о том, что несколько сот сотрудников немецкого консульства в Риге не просто занимаются шпионажем, а готовят захват Латвии.

После его речи Сталин не проронил ни слова. Зато выступил Ворошилов, который сказал буквально следующее:

— Товарищ Ефимов хороший работник и преданный делу партии человек. Но он не владеет нашей наукой, марксизмом. А наша марксистская наука позволяет сделать бесспорный вывод о том, что в ближайшее время войны между Германией и СССР не будет.

С тем Ефимов снова сел в свой вагон и отбыл обратно в Ригу.

А события шли своим чередом. 19 июня в Риге генерал принял последнего своего агента, это был капитан какого-то немецкого судна. Он сообщил, что нападение будет со дня на день, потому что уже грузят бомбы на самолеты. Капитан добавил, что должен немедленно отплыть из Риги. (Таков был негласный приказ — все немецкие корабли отозвать из советских портов, а все наши под любым предлогом задержать у германских причалов.)

— Тогда, — рассказывал нам генерал, — я повел его на продовольственный склад, и он погрузил на свое судно столько продуктов, что ему могло бы хватить до конца войны…

А затем Ефимов заказал литерный поезд, погрузил документы своего ведомства, разместил в нем всех своих сотрудников с семьями, и 21 июня 1941 года этот состав отправился из Риги в Москву.

Во время войны Ефимов какое-то время был, если не ошибаюсь, в Новосибирске и, кажется, там познакомился с будущим министром путей сообщения Бещевым. Это обстоятельство имело важное значение в его судьбе.

В конце войны побывал он и в Германии. Тут я должен заметить, что он был бескорыстен и безупречно честен. Я сам

видел в их квартире «германские трофеи» — несколько хрустальных бокалов и букет искусственных цветов. И при этом он сам рассказывал, что его коллеги по известному ведомству не брали даже золото, их интересовали только драгоценные камни… В частности, Ефимов упоминал эпизод, который стоит того, чтобы быть занесенным в анналы. Доблестные чекисты завладели в Дрездене короной саксонских королей. Они извлекли оттуда все самоцветы, а корону расплющили. Самый крупный алмаз, ее украшавший, если не ошибаюсь, Абакумов послал в Москву в подарок своему начальнику по фамилии Мешик.

В 1945 году Ефимов присутствовал на торжественном заседании по случаю годовщины Октября. Это происходило в Большом театре. Доклад делал Калинин, а Сталин с прочими функционерами сидел в президиуме.

Калинин видел очень плохо, и доклад ему переписали аршинными буквами. Однако дело не обошлось без недоразумения. В какой-то момент докладчик прочел страницу, забыл ее перевернуть и стал читать то же самое…

Когда несчастный «дедушка» принялся за ту же страницу в третий раз, Сталин со своего места издал выразительное «гм!». Из-за кулис тотчас же появился человек в штатском, стал позади трибуны и в нужный момент собственноручно перевернул страницу…

Далее все шло гладко.

После войны генералу Ефимову досталась, наверное, самая хлопотная должность во всем их доблестном ведомстве. Он стал министром госбезопасности Литовской Советской Республики. Там шла настоящая война. В Вильнюсе улица, на которой жили все советские начальники, на ночь запиралась с обеих сторон, как в средние века.

И все же в дом, где жил Ефимов с семьей, была брошена бомба. Угодила она в детскую комнату, но его дочери, по счастью, были в это время в школе.

О том страшном времени Ефимов вспоминал не без некоторого удовлетворения. Дело в том, что литовских партизан, «лесных братьев», с которыми он воевал, поддерживали с запада, в частности из Лондона, Интеллидженс сервис. А потому с профессиональной точки зрения это было весьма интересно — двойные агенты, провокационные акции и т. д.

Первым секретарем компартии Литвы был несменяемый Антанас Снечкус. Но так как точка была горячая, там был и эмиссар московского Политбюро — М. А. Суслов. В здании ЦК их кабинеты соседствовали.

И вот, рассказывал нам Ефимов, как-то среди ночи у него

дома зазвонил телефон. Звонили из каунасского отдела госбезопасности. Голос в трубке сказал:

— Товарищ министр, мы вас просим немедленно приехать к нам в Каунас.

— А что там у вас случилось? — спросил сонный генерал.

— Задержаны две спекулянтки, которые торгуют сахаром.

— Вы что, с ума сошли?! — возмутился Ефимов. — У вас там милиции нет?..

— Мы все понимаем, — отвечали ему, — и тем не менее мы очень просим вас приехать…

Тут генерал сообразил, что в Каунасе у него сидят не круглые идиоты, а потому ехать придется.

Он сел в свой «мерседес» и к утру прибыл в Каунас.

Там его ждал сюрприз. В местной ГБ сидели две дамы — жена и свояченица М. А. Суслова. Задержали их за то, что они, разъезжая в персональном сусловском вагоне, выменивали на сахар предметы антиквариата. (Можно себе вообразить, чту давали в послевоенной Литве за мешок сахарного песка.)

Ефимов усадил обеих узниц в свою машину и поехал обратно в Вильнюс. К этому часу уже открылись учреждения, и генерал ввел их прямо в кабинет Суслова.

— Михаил Андреевич, — сказал он, — примите ваших дам. Но я вас прошу впредь ограничивать их активность. Вы сами знаете, какая сейчас обстановка в республике…

Суслов пилюлю проглотил, но, как писал Зощенко, «затаил в душе некоторое хамство».

В восьмидесятых уже годах я услышал о том, что в одном из московских судов слушается дело о наследстве Суслова — чада и домочадцы чего-то не поделили. Говорили, что имущество покойного идеолога официально (то есть явно заниженно) оценивается в тогдашних двадцать миллионов. И, памятуя о литовской эпопее, я в это легко поверил…

А затем я вспомнил одно из самых любимых моих мест из «Бесов» Достоевского:

«Почему это, я заметил, — шепнул мне раз тогда Степан Трофимович, — почему это все эти отчаянные социалисты и коммунисты в то же время и такие неимоверные скряги, приобретатели, собственники, и даже так, что чем больше он социалист, чем дальше пошел, тем сильнее и собственник… почему это? Неужели тоже от сентиментальности?»

Вернемся, однако, к моему сюжету. Довольно скоро после конфликта с Сусловым у генерала Ефимова произошло столкновение с хозяином соседнего с сусловским кабинета — со Снечкусом.

У литовцев, как известно, масса родственников за рубежом, в частности в Америке, и многие из них уже в те годы получали посылки из-за океана. Разумеется, в Вильнюсе процветала торговля американскими товарами. И вот выяснилось, что одной из главных деятельниц этого подпольного бизнеса была жена первого секретаря ЦК Снечкуса. Словом, Ефимову пришлось иметь неприятную беседу и с ним.

Суслов к этому времени, кажется, уже вернулся в Москву, но они со Снечкусом сговорились Ефимова убрать и сделали это очень легко под тем предлогом, что министром госбезопасности должен быть литовец. И Ефимов, сорока лет от роду, в генеральском чине, получает на Лубянке полную отставку. Разумеется, воспринимает он это как жизненный крах.

Вот тут-то в его судьбе и сыграло роль приятельство с Б. П. Бещевым. А надо сказать, еще будучи литовским министром, Ефимов оказал ему неоценимую услугу. Дело было так.

Как-то на Лубянке к нему обратился один из коллег:

— Слушай, Ефимов, ты Бещева знаешь?

(А тот был уже заместителем министра путей сообщения.)

— Знаю, — отвечает Ефимов, — хороший мужик. А в чем дело?

— Понимаешь, — отвечает коллега, — его министр посадить хочет, все время на него пишет.

— Дай-ка я взгляну, — попросил Ефимов.

И он прочел несколько доносов, которые сочинил тогдашний министр путей сообщения на своего зама.

После этого Ефимов встретился с самим Бещевым, ввел его в курс дела и дал несколько дельных советов, каким образом нейтрализовать министерские доносы и что в свою очередь выдвинуть против него. В результате Бещев подсидел своего шефа и сам стал министром.

И вот уже будучи в отставке, как-то летом Ефимов по обыкновению всех тогдашних начальников поехал на футбольный матч на стадион «Динамо». Там он увидел Бещева, который ему очень обрадовался и спросил:

— Ты где теперь?

— Нигде, — отвечал Ефимов. — Я в отставке…

— В отставке? — изумился министр. — Так я тебе работу дам…

И он немедленно сделал Ефимова своим заместителем по охране железных дорог. Разумеется, Ефимов считал подобное назначение для себя унизительным, но именно эта должность и спасла ему жизнь.

В то время на Лубянке началась очередная кровавая баня, и

все это кончилось лишь с расстрелом Берии и его ближайших приспешников… А про Ефимова там забыли, он так и сидел под крылышком у Бещева…

Мы с его зятем, бывало, за глаза подтрунивали над отставным генералом. Мы называли его Экс-гауляйтером Литвы и обсуждали такой гипотетический сюжет: Литва отделяется от Союза, их командос похищают Ефимова, а потом его судят в Вильнюсе, как израильтяне Эйхмана в Иерусалиме.

Мы тогда не могли себе представить, что наступят такие времена, когда сюжет этот станет весьма реалистическим. Только вот сам генерал до этих дней не дожил.

Помнится, в начале шестидесятых пришлось мне уехать на два дня в Вильнюс. Когда я вернулся оттуда, Ефимов расспрашивал меня о впечатлениях, а они были довольно отрадны. На фоне московской всегдашней неустроенности Прибалтика радовала эдаким не вытравленным европеизмом. Чистые улицы, уютные кафе, отсутствие очередей…

— Да, — отзывался наш «экс-гауляйтер», — в том, что там теперь нормальная жизнь, есть толика и моего труда…

Я тогда постеснялся, а может быть, и побоялся сказать ему напрямик, что вся эта относительная нормальность существует именно вопреки его собственным и его товарищей усилиям.

XXIII

Музыка смолкла, коричневая лента сменилась розовым ракордом, и режиссер радиопередачи нажал на магнитофоне кнопку «стоп». В наступившей тишине раздается голос главного редактора:

— Так. Давайте обсуждать.

Новые коллеги мои, редакторы, один за другим берут слово. Я то и дело слышу:

— Эта песня хорошая, а эта плохая… Этот рассказ хороший, а тот плохой…

Я смотрю на всех с изумлением. Они сошли с ума или друг перед другом искусно притворяются? Вся эта радиопередача, все эти песенки и рассказы такое дерьмо, что об этом вообще говорить совестно… А вот поди ж ты — волнуются, спорят…

Это мой первый рабочий день на Всесоюзном радио, в редакции сатиры и юмора. Все сотрудники отдела собрались в кабинете главного и слушали только что записанную на пленку передачу.

Но пролетел месяц, другой… Я побывал на множестве таких обсуждений, и вот на очередном прослушивании я уже слышу собственный голос:

— Этот рассказ хороший… Эта песня плохая…

Так я стал разбираться в сортах дерьма. И весьма профессионально.

Коллега заглядывает в дверь и говорит мне:

— Тебя вызывают в политконтроль.

Так у нас на радио называлась цензура.

— К чему они там прицепились? — бормочу я, поднимаясь на шестой этаж.

За столом сидит мрачноватого вида немолодая тетка, перед ней папка с текстом подготовленной мною новогодней передачи.

— Посмотрите.

Она указывает мне на такое место из невинного детского рассказика: «Посреди зала возвышалась елка, похожая на трехступенчатую ракету».

— Ну и что? — спрашиваю я цензоршу.

— Как это — ну и что? — отвечает она. — Почему тут у вас сказано «трехступенчатая»?.. Ведь именно на таких ракетах доставляются в космос советские корабли… Я этого не могу пропустить в эфир…

— Хорошо, — говорю я, понимая, что спорить бесполезно, — давайте напишем так: «Елка, похожая на космическую ракету»…

— Вот это другое дело, — с удовлетворением говорит цензорша.

Я собственноручно делаю исправление в тексте и удаляюсь.

Цензорские функции осуществлял не только этот «политконтроль», это делали решительно все начальники, вплоть до самого председателя Комитета по радиовещанию и телевидению. В те годы я открыл такую закономерность: предугадать, чего именно потребует цензор, невозможно, ибо ход его мысли непредсказуем. Мне даже пришло в голову, что какой-нибудь ученый мог бы взяться за написание труда «Психология цензора», работа могла бы получиться прелюбопытнейшая.

Несмотря на всю бдительность «политконтроля» и начальства, на радио по временам случались весьма скандальные истории. Одна из них привела даже к некоей реорганизации.

В мое время, в начале шестидесятых, существовал на радио небольшой отдел выпуска программ. Состоял он из одного симпатичного еврея по фамилии Киперман и нескольких его помощников. Этот Киперман принимал у нас папки с текстами и давал добро на прокручивание наших пленок. В свободное же время, какового у него почти не было, он, сидя за своим столом, занимался чтением весьма популярных в те годы фельетонов Леонида Лиходеева.

Но вот вместо кипермановского отдела возникла огромная, с десятками сотрудников главная редакция программ. И все это лишь по одной причине: выяснилось, что необходимо проверять не только сами радиопередачи, но, так сказать, их стыки — чем кончается одна и с чего начинается другая. И выяснилось это весьма скандальным образом.

Был самый обычный день. В эфир одна за другой выходили запланированные и записанные на пленку передачи. Но в какой-то момент на радио поступило экстренное сообщение ТАСС, его следовало передать немедленно. Информация была такая: «Первый секретарь ЦК КПСС, Председатель Совета Министров СССР Никита Сергеевич Хрущев отбыл с дружественным визитом в Финляндию».

После этих слов диктора заиграла музыка и разухабистый женский голос спел:

Не ходи ко мне, Никита,
Не волнуй мою ты кровь,
Твое сердце будто сито,
В нем не держится любовь.

Разумеется, никакой намеренной провокации тут не было. За

сообщением ТАСС пошла очередная передача «Музыка из кинофильмов», и она, как на грех, начиналась именно этой частушкой из картины «Светлый путь»…

Старые сотрудники радио вспоминали множество подобных историй. Но все это, как правило, относилось ко временам, когда почти все передачи шли из студии прямо в эфир. (В мое время таким образом передавались лишь последние известия, все прочие программы были записаны на пленку.)

Мне запомнился забавный случай с диктором по фамилии Герциг. Этот человек был страстным игроком на бегах. И вот как-то раз он примчался в радиостудию прямо с ипподрома. Ему надо было прочесть в эфир рассказ, который начинался такими словами: «Тонула женщина». А поскольку мысли диктора были все еще на конском ристалище, он произнес в микрофон:

— «Тонула лошадь»…

После некоторого замешательства Герциг вышел из положения и сказал:

— А рядом с нею тонула женщина…

Далее он без запиночки прочел весь незамысловатый рассказ. Но все же какой-то слушатель из Рязани прислал на радио письмо. Он осведомлялся о судьбе тонувшей в начале рассказа лошади — спасли ее или нет?..

Августовским воскресным днем шестьдесят первого мне позвонили из редакции и попросили немедленно явиться на службу. Я отправился с большим неудовольствием, ибо до этого случая в выходной день меня туда ни разу не вызывали.

Явившись в Радиокомитет, я застал там то, что у военных называется готовностью номер один. Предстоял космический полет Германа Титова, и мы должны были рекламировать это событие по первейшему разряду.

Мне пришла в голову такая мысль: пригласить в студию Леонида Утесова и попросить его исполнить некое попурри из его старых песен, а тексты переделать так, чтобы был прославлен полет Титова. Идея понравилась начальству. Утесов согласился, новые тексты были заказаны и написаны.

(Забегая вперед скажу, что номер этот имел необычайный успех. На радио дали знать, что в момент трансляции нашей передачи Хрущев и члены тогдашнего Политбюро сидели за завтраком. И вот когда зазвучал утесовский голос, Хрущев поднялся за столом и стал аплодировать. Его примеру последовали «и другие товарищи». Впрочем, ни сам Утесов, ни тем паче я за это никаких поощрений не получили.)

Только что окончилась запись. В студии духота — жаркий августовский день.

Утесов специально приехал с дачи, вызвал своих музыкантов. Вот он спрашивает меня:

— Ну и сколько ты мне теперь за это заплатишь?

Тут я замялся. По части оплаты наше Всесоюзное радио было организацией весьма несолидной…

Я говорю:

— Леонид Осипович, вы распишитесь в двух ведомостях — за саму радиозапись и как бы за репетицию. Тогда получится полторы ставки…

(Это составляло примерно двадцать пять рублей.)

— Так, — произносит старый артист, — скоро ты меня за бутерброд с сыром вызывать будешь…

XXIV

Мы с Юлией Марковной Живовой стоим у высокого забора. Это даже не забор, а эдакая железобетонная решетка, за которой бродят по грязному снегу три десятка неопрятно одетых людей. Это прогулочный дворик в Московской психиатрической больнице имени Кащенко.

Мы кричим:

— Иосиф!.. Иосиф!..

Один из гуляющих подбегает к забору. Это Бродский.

— Скажите Ардову, — отчаянно выкрикивает он, — пусть сделает так, чтобы меня немедленно выпустили отсюда!.. Я не могу! Я больше не могу!..

(В эту больницу будущего нобелевского лауреата упрятали для того, чтобы уберечь от готовящейся расправы. Увы! — он этого не выдержал, вышел на волю, отправился в Ленинград. Дальнейшее известно.)

Летом 1962 года моя мать побывала у Ахматовой в Комарове и, вернувшись, рассказывала о двух молодых поэтах, которых Анна Андреевна приблизила к себе. Это были Иосиф Бродский и Анатолий Найман. Помнится, она говорила, что Бродский читал свои стихи в Комарове не очень охотно, а Найман весьма охотно и свои и Бродского.

К тому же лету относится и такой забавный эпизод. К Ахматовой в Комарово приехала юная особа из Ленинграда. Говорила исключительно о поэзии. Между прочим, сказала и такое:

— У меня есть весь Бродский.

Ахматова возразила ей:

— Как это можно говорить «весь Бродский», когда ему только двадцать два года?..

В этот момент распахнулась дверь и на пороге появился сам Иосиф — он принес два ведра воды. Ахматова указала на него своей гостье и произнесла:

— Вот вам — ваш «весь Бродский».

Довольно скоро после этого оба — Бродский и Найман — появились у нас на Ордынке. Хотя они принадлежали к числу гостей Анны Андреевны, у меня и у брата, да и у всей нашей компании, установились с ними близкие отношения.

Бродский и Найман совершенно не походили друг на друга. Иосиф — рыжеволос, высок, нос горбинкой. Анатолий — худощав, изящен, голова как воронье крыло.

Ахматова как-то сказала Найману:

— У мальчиков Ардовых на голове еще волосы. А у вас — шерсть молодого здорового животного.

У Бродского уже была слава — стихи его талантливы и эффектны. Авторское чтение, громогласное и несколько картавое, эффекты заметно усиливало. У Наймана славы не было. Стихи его утонченны, под стать изящной фигуре. Оба они были ловеласы, а точнее — донжуаны.

Мы с Иосифом идем по Ордынке и сворачиваем в проходной двор. Цель нашего путешествия — шашлычная на Пятницкой улице. Он мне говорит:

— Михаил, я начал писать поэму… Вот послушайте начало:

Однажды Берия приходит в мавзолей
И видит, что в коробке кто-то рылся.
Он пригляделся: точно, кишек — нет!
— Кто с…л кишки! — прокричал Лаврентий.
Ответа не было… Лишь эхо
Чуть слышно повторяло: кишки!.. кишки!..

— Великолепно! — говорю я. — Превосходно! И больше ничего не надо…

— А я решил писать дальше, — отвечает Иосиф. — Уже начал продолжение:

Чека пришло в движенье. Абакумов…

— Не надо, не надо, — говорю я, — умоляю вас — не надо! Это так прекрасно — удаляющееся под землею «кишки!.. кишки!..».

Шуточные стихи Бродского вообще блистательны. Я, например, запомнил с его голоса такое:

К Аспазии

Я гибну, милая Аспазия,
От пьянства и от безобразия.

К Делии

Я гибну, дорогая Делия,

Увы! — от пьянства и безделия.

Луначарского Бродский называл Лунапаркский.

И, продолжая эту тему, прибавлю такое. В наше время весьма распространенной была аббревиатура ЦПКиО (Центральный парк культуры и отдыха). Произносилось это «цэпэкио». Так вот Бродский несколько перефразировал Маркса:

— Пролетариату нечего терять, кроме своих цэпэкио.

Он изобрел и такой девиз:

— На каждого мосье — досье.

В судебном заседании перерыв. Подсудимого не увели, Бродский стоит в окружении милиционеров и подтянутых людей в штатском.

Я приближаюсь к этой группе.

— Михаил! — кричит мне Иосиф. — Держите!

Я совсем забыл, что Бродский взял поносить какую-то беспризорную ушанку, которая несколько месяцев пылилась в прихожей на Ордынке. И вот теперь он почему-то решил эту шапку мне вернуть. Он пытается бросить мне ее, но не успевает даже взмахнуть рукою — на ней виснут три милиционера.

Иосиф улыбается растерянно и беспомощно.

«Суд над тунеядцем Бродским» (так эта трагикомедия именовалась официально) запомнился мне очень хорошо. Иосиф там держался великолепно. Особенно хороши были два его ответа.

Судьиха просила его относиться к суду уважительно. На это Бродский сказал:

— Нельзя уважать абстракцию.

Некоторые справки о гонорарах за переводы были отвергнуты, и в результате получалось, что заработки его были ничтожны. Судьиха подытожила: на такие деньги взрослый человек прокормиться не может, а следственно, Бродский тунеядец. На это Иосиф отвечал так:

— Я две недели сидел в милиции, и мне давали расписываться в том, что я съедал провизии в день на сорок копеек. Из этого следует, что взрослый человек может существовать на сумму гораздо меньшую, чем составляют мои гонорары.

Очень хорошо запомнился мне Лернер, тот самый, что организовал этот суд. Сказать, что он выглядел именинником, — ничего не сказать. Он суетился, включал и выключал магнитофон, совал газетчикам текст речи обвинителя, шутил с многочисленными милиционерами, подсаживался к лицам «в

штатской форме», снисходительно спорил с интеллигентными молодыми людьми, записывал для газеты состав суда… Словом, он вел себя, как помреж на первой своей премьере.

Еще запомнился мне Владимир Григорьевич Адмони, который был одним из свидетелей защиты. Он стоял вполоборота к залу.

Судьиха ему говорит:

— Свидетель, прошу вас обращаться к суду.

Адмони отвечает:

— Простите, старая профессорская привычка обращаться к аудитории.

Уж коли речь зашла о Владимире Григорьевиче, мне вспомнился и такой эпизод, связанный с ним и Бродским. В свое время «литературная общественность Ленинграда» была слегка взбудоражена тем фактом, что первая на русском языке публикация Рильке — крошечный сборничек — была подготовлена Адмони, а переводы все до одного принадлежали его жене — Тамаре Сильман. Как-то раз мы с Бродским подвезли Адмони на такси. Он попрощался с нами, вышел из машины, а я говорю Иосифу:

— У этой парочки Рильке в пуху.

Надо было видеть, как хохотал Бродский.

Анатолий Найман стоит посреди столовой на Ордынке и поет:

Возле казармы
В свете фонаря
Кружатся попарно
Листья сентября.

Ах, как давно
У этих стен
Я сам стоял,
Стоял и ждал
Тебя, Лили Марлен,
Тебя, Лили Марлен.

Лупят ураганным
Боже, помоги!
Я отдам Иванам
Шлем и сапоги,

Лишь бы разрешили
Мне взамен
Под фонарем
Стоять вдвоем
С тобой, Лили Марлен,
С тобой, Лили Марлен.

Есть ли что банальней
Смерти на войне
И сентиментальней
Встречи при луне.

Есть ли что круглей
Твоих колен,
Колен твоих,
Их либе дих,
Моя Лили Марлен,
Моя Лили Марлен.

— Я давно не слышала ничего такого циничного, — произносит Ахматова.

В этот день Найман вернулся из деревни Норинской, он навещал там ссыльного Иосифа, который только что написал свой текст «Лили Марлен».

Ссылка Бродского действовала на Ахматову весьма болезненно. С той поры, как его осудили, она перестала повторять фразу, которую я прежде то и дело слышал от нее:

— Я — партии Хрущева. Он освободил мою страну от позора сталинских лагерей.

Но я запомнил и такое:

— Он (Иосиф) как будто нанял кого-то, чтобы ему делали классическую биографию.

Я помню, Анна Андреевна пыталась привлечь к хлопотам о Бродском Д. Д. Шостаковича, который в те годы был депутатом Верховного Совета. С этой целью Ахматова пригласила его на Ордынку.

Утром в день его визита она сказала нам за завтраком:

— Все это хорошо, но я не знаю, о чем надо говорить с Шостаковичем…

А Максим рассказал нам, что, собираясь на Ордынку, Дмитрий Дмитриевич говорил: «О чем же я буду говорить с Ахматовой?..»

И тем не менее оба остались довольны друг другом, общие темы у них нашлись, хотя, если не ошибаюсь, помочь Бродскому Шостакович не смог.

Иосиф томился в своей ссылке и, разумеется, пытался принимать посильное участие в хлопотах… Письма его просматривались, и мы все об этом помнили. Он знал это и сам, а потому прибегал к иносказаниям и намекам, порой, впрочем, весьма прозрачным. В те годы начальником КГБ был Семичастный. Так вот в одном из писем Бродский писал: «Мне кажется, что все дело тормозится тем, чья фамилия состоит из семи частей».

В железную калитку стучат, и я слышу два голоса:

— Миша!..

— Миша!..

Я выглядываю за ворота и вижу двух «странников» с рюкзаками, это — Найман и Бродский. Я распахнул калитку, мы обнялись.

Было это в июне 1967 года. Я тогда жил в Коктебеле, в доме А. Г. Габричевского и Н. А. Северцовой. Самое забавное в неожиданном появлении двух поэтов было то, что оба прибыли в Крым с командировочными удостоверениями. Найман — от московского журнала «Пионер», а Бродский — от такого же ленинградского издания «Костер».

Я тогда, помнится, весьма цинично пошутил — предложил Иосифу псевдоним специально для этого журнала: Дж. Бруно, собственный корреспондент «Костра». А сам он себе придумал нечто более литературное — Капитон Лебядкин.

Году в семидесятом Бродскому пришлось лежать в больнице в городке Сестрорецке. Там его поместили в палату коек на двадцать. На каждой тумбочке стоял транзисторный приемник «Спидола», и больные все вместе и каждый по отдельности слушали целыми днями радиопрограмму «Маяк». Бродскому это было невыносимо…

Однажды он остался в палате один и тогда сам включил все двадцать приемников, настроив их на волну русской службы Би-би-си… В те времена советскому человеку слушать Лондон воспрещалось, а потому эффект этого поступка был оглушительный…

К тому же времени относятся и такие мои воспоминания. В Москве в Сокольническом парке устраивались международные выставки, на которых работала наша приятельница Аманда Хейт. Она нас познакомила с замечательным своим сотрудником — Майком Туми. Это был ирландец, католик, человек, прошедший войну и побывавший в Дюнкерке. Мы с Найманом и Бродским

частенько хаживали к нему в английский павильон, где нас угощали джином, виски, вкусно кормили.

Как-то, вспоминая об этих визитах в Сокольники, Бродский мне сказал:

— Помнишь, душа Тряпичкин, как мы с тобой едали «на счет доходов аглицкого короля»?

Особенно хорош был консервированный язык, которым нас угощал Майк Туми. Мы с Бродским называли его English language.

Под соломенным абажуром вьется и назойливо жужжит оса. Мы ужинаем на кухне в коктебельском доме Габричевских — Наталья Алексеевна, Бродский, мой приятель Александр Авдеенко и я. Иосифа сильно раздражает жужжание, он поднимается и резким движением руки сбивает осу…

— Так, — растерянно произносит Наталья Алексеевна, — готово…

Оса угодила ей за вырез платья. Бродский хватается за голову. За столом тишина, общая растерянность.

Через минуту оса выбирается, не причинив нашей хозяйке никакого вреда…

Этот незначащий эпизод запомнился мне еще и потому, что Бродский упомянул о нем в своем стихотворении.

В ту осень, а было это в октябре 1969 года, Наталья Алексеевна написала его портрет, по-моему, весьма удачный. А Иосиф на оборотной стороне картона собственноручно начертал сонет, который начинался так:

Мадам, Вы написали мой портрет,
Портрет поэта, хвата, рукосуя…
…….
За то, что Вам адресовал осу я…

В тот год друзья раздобыли Бродскому путевку в коктебельский писательский дом, а я тогда жил у Габричевских. Собственно, уже у одной Натальи Алексеевны, Александр Георгиевич скончался за год до этого — в сентябре 1968-го.

Бродский там пришелся ко двору. Мы ежедневно выпивали, шутили, слушали иностранное радио… Шумно отметили день моего рождения — 21 октября. Бродский по этому случаю сочинил пространную шутливую оду.

А еще мы ходили в совхозный сад джимболосить. Это местный крымский глагол, он означает собирание остатков в садах и виноградниках. Само слово это Бродскому чрезвычайно понравилось. Он даже шуточную оду ко дню моего рождения окончил так:

За сотню строк наджимболосив,
Я Вас приветствую. Иосиф.

Я сворачиваю с Литейного проспекта, и передо мною появляется светлая громада. Это Преображенский всей гвардии собор, окруженный забором из трофейных турецких пушек. Я вхожу в знакомый мне подъезд углового дома, поднимаюсь на второй этаж. Здесь живет Бродский.

Отец поэта Александр Иванович отворяет мне входную дверь и ведет в комнату.

Иосиф сидит один за огромным обеденным столом и ест ложкой прямо из банки немыслимые консервы, какую-то свинину с горохом… Александр Иванович указывает мне на сына и произносит:

— Полюбуйтесь: гражданин мира.

Узнав, что Иосиф собирается уезжать из страны, я отправился в Питер попрощаться с ним. (Тогда нам всем казалось, что расставания эти — навсегда.)

Я провел с Бродским почти целый день — один из самых его последних здесь: сопровождал его в милицию, военкомат, жилищную контору и т. д. И почти всюду возникали бюрократические препятствия, Иосиф то и дело звонил в ОВИР, чтобы преодолевать эти затруднения.

И вот мы с ним бредем вдоль ограды Преображенского собора. Вдруг он резко поворачивается ко мне и говорит:

— Уехать отсюда — невозможно, но жить здесь — немыслимо!

XXV

Кладбище — жуткое… Мало того что могилы вырыты беспорядочно, но рядом чуть ли не зона… Во всяком случае, прямо над крестами и памятниками высится забор с колючей проволокой, стоят автоматчики на вышках…

Все мне видится Павловск холмистый…

6 марта 1966 года. Мы с Бродским бредем по кладбищу в Павловске, в том самом Павловске холмистом… Мы ищем место для могилы Ахматовой. Нас сюда послала И. Н. Пунина.

Узкая дорожка между могилами упирается в забор, и там стоит сосна рослая, стройная…

— Ну, — говорю я, — вот тут, пожалуй, можно было бы… Но нет, не пойдет… У Пастернака три сосны, а у нас будет только одна…

Иосиф грустно усмехается:

— Ей бы эта шутка понравилась…

Мы медленно бредем прочь от павловского кладбища… И вдруг нас осеняет… Зачем мы слушаем эту дуру Пунину? Ахматова сама точнехонько указала место для своей могилы. Мы вспоминаем последние строки «Приморского сонета»:

> И кажется такой нетрудной,
> Белея в чаще изумрудной,
> Дорога не скажу куда…
> Там средь стволов еще светлее
> И все похоже на аллею
> У царскосельского пруда.

Мы спешим в Комарово на кладбище… Там широкая дорожка, она упирается в забор, а сзади — целый лес сосен (гораздо больше, чем в Переделкине). И мы понимаем: именно здесь…

А дальше начались многодневные хлопоты, мы боролись за то, чтобы нам отдали место в конце дорожки. Мы говорили, что могила Ахматовой будет предметом поклонения тысяч людей и т. д. А нам отвечали, что кладбище в Комарово — «перспективное» и должно развиваться в запланированном направлении, а посему на центральной аллее никого хоронить нельзя…

В наши хлопоты были вовлечены многие лица, в том числе поэт Михаил Дудин, тогдашний секретарь ленинградской

писательской организации. В те дни он пребывал в самом Комарове, в доме творчества. Он позвонил оттуда и сказал мне буквально следующее:

— Я там только что был, на кладбище… Они предлагают другое место, в стороне… По-моему, очень хорошее место, надо соглашаться…

А я, грешник, с трудом удержался, чтобы не сказать ему: «Хорошо, Михаил Александрович. Если вам предлагаемое ими место так нравится, быть может, приберечь его для вас?..»

В конце концов все решилось в самый день похорон. Помогла, дай ей Бог здоровья, Зоя Борисовна Томашевская. Ее приятель, фамилия которого, если не ошибаюсь, была Фомин, в те годы состоял в должности главного архитектора Ленинграда. Он-то и приказал местным деятелям прекратить сопротивление.

Гроб с телом Ахматовой прибыл в Ленинград на самолете лишь 9 марта. Вечером того же дня в квартире на улице Ленина у нас был первый разговор о судьбе архива Ахматовой. Все бумаги забрали себе И. Н. Пунина и А. Г. Каминская. Бродский, Найман и я опасались, и, как выяснилось, совершенно справедливо, что дамы эти распорядятся своей добычей не самым лучшим образом.

Мы поделились своими подозрениями с Н. Я. Мандельштам, которая вполне разделила наши опасения.

— Так что же делать? — спросил кто-то из нас.

— Выкрасть! — сказала Надежда Яковлевна тоном профессионального шпиона. Немедленно выкрасть у них все бумаги!

Но, к великому сожалению, эта здравая идея реализована не была.

Я вспоминаю еще, что 5 марта вечером Гумилев, Бродский, мой брат Алексей Баталов и я разбирали фотографии, которые хранились у Анны Андреевны. Среди них оказался крошечный кусочек пожелтевшего картона, на котором рукою Ахматовой было написано:

Молитесь на ночь, чтобы вдруг
Вам не проснуться знаменитым.

Хор поет:

— В путь узкий хождшии прискорбный, вси в житии Крест яко ярем вземшии, и Мне последовавшие верою, приидите насладитеся, их же уготовах вам почестей, и венцов небесных…

Кинооператор приближается к гробу и поднимает камеру, на него тут же кидается Лев Николаевич Гумилев, почти выбивает аппарат из рук…

И это повторяется в течение всего отпевания.

Отпевание Ахматовой проходило у Николы Морского, в нижнем храме, 10 марта — на шестой день после смерти. Я помню, как мы с Найманом говорили: если бы 5-е число не было днем смерти Сталина, если бы не помешал нормальному течению событий омерзительный советский праздник 8 Марта, если бы не борьба за место на кладбище — это были бы похороны не для Ахматовой, они бы не соответствовали всей ее жизни.

После отпевания гроб повезли в ленинградский Союз писателей. По удивительному совпадению он размещается в доме, который в свое время, как и Фонтанный дворец, принадлежал графу Шереметеву. На нем красовался все тот же герб с девизом «Deus conservat omnia» («Господь сохраняет все»).

Но и это еще не все. В Москве тело Ахматовой лежало в морге Института Склифосовского, то есть в странноприимном доме, который построили для города все те же Шереметевы.

Бродский, Найман, я и прочие в Союз писателей не пошли, чтобы не слышать глупостей и пошлостей, которые произносили над гробом великого поэта «инженеры человеческих душ». Побывавшая там Л. Д. Большинцова впоследствии рассказала нам о примечательном эпизоде.

Во время прощания с телом Ахматовой некую даму-распорядительницу упрекнули в том, что все устроено очень плохо. Та ничтоже сумняшеся отвечала:

— В следующий раз организуем лучше.

— Следующий раз будет через сто лет! — крикнули ей из толпы.

Впрочем, без глупостей и пошлостей не обошлось и на кладбище. Там слово получил Михалков, он говорил «от имени московских писателей, которые не успели попрощаться с Ахматовой», а кроме того объявил:

— Настоящее искусство не имеет срока.

Слава Богу, это продолжалось недолго, возле гроба появился священник и предал покойную земле.

На могиле был установлен сосновый крест. (Кстати сказать, изготовленный на киностудии «Ленфильм» по просьбе А. Баталова.)

Крест этот почему-то очень смущал человека, который в те времена был директором дома творчества и комендантом писательского поселка. Он неоднократно выражал свое беспокойство поэту Александру Гитовичу, другу Ахматовой и ее соседу по даче.

Как-то раз комендант сказал:

— Крест пора убирать… Мы там поставим колонку…

— Колонку ставят в ванной, — отвечал ему Гитович.

На похоронах Ахматовой особенно запомнился мне Арсений Тарковский. Он единственный произнес человеческие слова над ее могилой:

— Пусть ей земля будет пухом.

А несколько позже, после панихиды в ее домике, в Будке, он сказал мне с тоскою и болью:

— Как же жить теперь будем, Миша?..

Он написал на смерть Ахматовой цикл стихотворений, некоторые из них превосходны.

Я очень хорошо помню тот день, когда Ахматова вышла из своей маленькой комнаты и в руках у нее была небольшого формата тетрадочка стихов.

— Посмотри, — сказала она мне, — по-моему, это очень хорошо.

Это были переписанные рукою автора тринадцать стихотворений Тарковского.

Больше прочих в этой тетрадочке Анне Андреевне нравились стихи «Шах с бараньей мордой на троне…». Я помню, она повторяла:

— Ах, восточные переводы, как болит от вас голова…

Тарковский был веселым, остроумным, очаровательным собеседником. Прибавьте к этому редкостную красоту его лица, в котором светились ум и доброта. Экспромты и каламбуры его были бесподобны. Помнится, он зашел на Ордынку, чтобы взять конверт с деньгами, Ардов возвращал ему долг. Тарковскому открыли дверь, и он с порога произнес:

Я пришел к тебе с приветом,
Чтобы деньги взять при этом…

Я запомнил эпиграмму Тарковского на поэта-переводчика Вильгельма Левика:

Левик,
Иди в хлевик,
Там — твое место,
Там твоя невеста.

Тарковский жил в довольно запущенной квартире, но приводить ее в порядок запрещал. Он говорил:

— После меня — хоть ремонт!

Мне очень нравились стихи Тарковского, я и теперь люблю

некоторые из них. Арсений Александрович знал об этом, а потому у нас с ним возникла некая близость. Он надписывал мне свои книги, а я бережно храню их. Есть у меня и несколько его писем.

А дальше… дальше я круто изменил свою жизнь, а потому наши отношения с Тарковским прекратились. Впрочем, я радовался за него, потому что к нему наконец-то пришли признание и даже слава, которых он более чем заслуживал.

Когда на московские экраны вышел фильм «Зеркало», меня угораздило пойти его посмотреть. Надо сказать, к творчеству Тарковского-младшего я относился довольно скептически. Разумеется, на фоне самодеятельного и убогого советского кино он блистал профессионализмом.

«Андрея Рублева» я не стал смотреть, ибо знал, что там наличествует кощунственное изображение Спасителя. А «Солярис» я видел и много во время сеанса смеялся, ибо самый жанр фантастики представляется мне совершенной чепухой. Тогда же я и сформулировал свое отношение к творчеству Андрея Арсеньевича, позаимствовав слова Льва Толстого:

— Он пугает, а мне не страшно.

Но вернусь к «Зеркалу». Там меня постигло ужасное огорчение. Я услышал голос, читающий стихи за кадром, и голос этот принадлежал любимому и уважаемому мной Арсению Александровичу. Мне это было тем более отвратительно, что я знал некоторые подробности его биографии.

В фильме есть такой эпизод. Героиня, то есть мать автора картины, тщетно ждет в деревне приезда мужа, и в это-то время реальный отец режиссера Арсений Тарковский читает свое любовное стихотворение, посвященное Марине Ивановне Цветаевой, — «Свиданий наших каждое мгновенье…». Дескать, мама тут ждет, а папа где-то предается любовным утехам. Это ли не хамство в самом изначальном, библейском смысле этого слова?.. Это ли не глумление над наготою собственного отца?..

Но я и еще кое-что знаю. Я знаю, что в момент возникновения романа Тарковского и Цветаевой он был женат не на матери Андрея, у него уже была другая жена… До сих пор не могу понять, как Арсений Александрович мог на все это согласиться…

Мы с ним больше так и не увиделись. Но в самый год его смерти я прочел нечто, что живо напомнило мне годы близости с ним, то давнее время, когда я так любил и его самого и его стихи. Одна московская газетенка опубликовала его старое, довоенное стихотворение, где я нашел мысли и чувства, которые с давних пор испытываю по отношению к самому для меня отвратительному виду искусства кинематографу:

Я, как мальчишка, убежал в кино.
Косая тень легла на полотно.

И я подумал: мне покоя нет.
Как бабочка, трещал зеленый свет.

И я увидел двухэтажный дом
С отворенным на улицу окном,

Хохочущую куклу за окном
С коротким носом над порочным ртом.

А тощий вислоусый идиот
Коротенького за руку ведет,

Другой рукою трет себе живот,
А коротышка ляжками трясет.

Тут кукла льет помои из окна,
И прыгает от радости она.

И холодно, и гадко дуракам,
И грязный жир стекает по щекам.

И стыдно мне, когда другого в рот
Целует сердобольный идиот.

И Пат смешон, и Паташон смешон,
Но Пату не изменит Паташон.

И тошно мне, и голова болит.
Куда мне скрыться от моих обид?

1938.

Мы особенно часто общались с Тарковским самое первое время после смерти Ахматовой. Союз писателей, как водится, учредил комиссию по ее литературному наследию. (Это была первая такая комиссия, теперь уже существует вторая.) Так вот Арсений Александрович был одним из членов, я — секретарем, а председателем — Алексей Сурков. Заседания наши происходили в Ленинграде. Впрочем, деятельность той комиссии была совершенно безуспешной. Наших рекомендаций и решений никто даже во внимание не принимал, и в конце концов комиссия перестала существовать.

А. Сурков сидит на председательском месте, я рядом с ним, несколько поодаль — прочие. Только что прозвучало предложение поручить подготовку посмертного сборника Ахматовой Лидии Корнеевне Чуковской. На это Сурков говорит:

— Лично я против Лидии Корнеевны ничего не имею… Но вы поймите меня правильно… Когда письма, адресованные в наши советские инстанции, становятся достоянием иностранных газет и их радио раньше, чем доходят до адресата, это выглядит по крайней мере странно…

Тут я неожиданно для самого себя произношу:

— Да, это уже стало хорошей традицией…

Сурков смотрит на меня с недоумением и неудовольствием…

Это заседание проходило в Ленинграде в феврале, если мне не изменяет память, 1967 года. Там мне особенно запомнился Виктор Максимович Жирмунский. Он говорил:

— Я могу сообщить присутствующим, что мною уже подготовлен текст сборника Ахматовой для большой серии «Библиотеки поэта». Но тут возникает проблема: кто напишет к этому сборнику предисловие? Я не могу написать: «В 1910 году Ахматова вышла замуж за поэта, фамилия которого не сохранилась». Я таких предисловий писать не умею, и учиться этому мне поздно…

(Тут надобно добавить, что в те годы запрещалось всякое упоминание в печати имени Н. С. Гумилева.)

Затем Виктор Максимович поразил меня и всех присутствующих по меньшей мере странным сравнением. Он говорил о преступном решении И. Н. Пуниной продать половину бумаг Ахматовой в Центральный архив, а другую — в Публичную библиотеку.

— Разделить архив Ахматовой на две части, — говорил тогда Жирмунский, это все равно что расчленить тело прекрасной женщины — голову отправить в Москву, а тело оставить в Ленинграде.

В этом месте академика перебила сотрудница Публичной

библиотеки по фамилии Мандрыкина. Она стала говорить о достоинствах своего учреждения. Но Жирмунский решительно остановил ее:

— Вы меня тут не учите уважать Публичную библиотеку! Я был ее читателем, когда вас всех, сидящих в этой комнате, еще не было в живых!

Мы с Арсением Александровичем Тарковским идем по Литейному в Союз писателей, предстоит очередное заседание ахматовской комиссии. Я указываю ему на серую громаду известного в Питере «большого дома», в котором располагается КГБ, и говорю:

— Это здание строили два архитектора, итальянцы по происхождению, Пыталли и Растрелли…

XXVI

Мы идем по каменистой коктебельской дороге. Александр Георгиевич Габричевский говорит мне:

— Есть только один способ узнать совершенно точно, кто именно из твоих друзей и знакомых стукач. Только этот способ не всегда удобен и даже не всегда доступен…

— Какой же это способ? — спрашиваю я.

— А вот какой. Когда тебя уже посадили и следователь ведет допрос, он непременно расспрашивает тебя о всех твоих знакомых. Так вот когда ты назовешь имя стукача, он его как бы не слышит… Он не хочет, чтобы это имя попало в протокол… Поэтому, пропустив его мимо ушей, он тебе говорит: «Так… Ну а еще кто у вас бывал?» Все те люди, которые у него не вызовут ни малейшего интереса, — стукачи…

А. Г. Габричевский и Н. А. Северцова бывали на Ордынке не очень часто, тем не менее мои родители и они, что называется, дружили домами.

Первым, кто был принят в коктебельском доме Габричевских, был мой старший брат Алексей Баталов. Наталья Алексеевна говорила:

— Я нашла его на волейбольной площадке.

Произошло это году в пятидесятом, в доме Габричевских предстояло торжество по случаю дня рождения Ольги Северцовой, племянницы Н. А. Было решено устроить шарады, а участников для этой театрализованной игры почти не было. Наталья Алексеевна отправилась на поиски. Она подошла к волейбольной площадке и стала наблюдать. И тут один юноша неудачно ударил по мячу, а после этого изобразил припадок отчаяния — схватился за лоб, воздел руки к небу и т. д. Когда окончилась игра, Наталья Алексеевна подошла к молодому человеку и пригласила его в гости. Это был будущий актер Алексей Баталов, тогда студент школы при Художественном театре…

Из Коктебеля наш Алексей вернулся в совершеннейшем восторге от дома Габричевских. В его речи то и дело мелькало «дядя Саша» и «тетя Наташа»… Затем его дружба с Габричевскими еще больше укрепилась: друг его юности Олег Стукалов (сын Н. Ф. Погодина) женился на Ольге Северцовой.

Мое собственное, особенное сближение с Габричевскими произошло в 1962 году. В августе мы с Алексеем отдыхали в Коктебеле, и только тут я стал завсегдатаем их гостеприимного дома. Когда Алексей уехал, а я еще оставался в Крыму, Наталья

Алексеевна предложила мне поселиться у них. С тех самых дней и вплоть до кончины Александра Георгиевича, а потом и Натальи Алексеевны меня связывала с ними обоими самая тесная дружба.

Наталья Алексеевна была совершенно необыкновенным человеком. Самым существенным ее качеством был талант. Талант во всем, что бы она ни делала: писала ли картинки, составляла композиции из корней, стряпала, накрывала на стол, обставляла комнаты или устраивала театрализованные игры. Она, ее необычайная одаренность — вот что было душою дома, который привлекал столь многих и не был похож ни на один другой дом в мире…

Александр Георгиевич был человеком сильного и ясного ума, и это в сочетании с редкостной эрудицией. Он знал классические и многие современные языки, античную и новую философию, литературу, искусство, не чужд был и наукам естественным… В формировании моей личности дружба с ним имела первостепенное значение. В 1964 году он стал моим крестным отцом, хотя, честно говоря, для этой роли он не вполне подходил. Христианство было частью его необычайно обширных знаний, а вовсе не «единым на потребу», как тому надлежит быть.

Вот мы идем с Габричевским по Тепсеню, холму, который возвышается в Коктебеле над заливом и поселком. Я ему говорю:

— Терпеть не могу Белинского. Какие глупости и гадости он адресовал Гоголю!.. А что он писал о Пушкине в самые последние годы жизни поэта?.. Баратынский в своей эпиграмме называет его «намеднишним Зоилом». Достоевский пишет: «Он мне ругал Христа по матери…» Совершенно смрадная фигура…

Александр Георгиевич смотрит на меня и говорит:

— Мой дедушка Станкевич мне рассказывал…

Я замер в удивлении. Разговор этот происходит в 1964 году…

— Так вот он рассказывал, — продолжает мой спутник, — в сороковых годах прошлого века они с братом Николаем и еще некоторые их приятели вернулись в Россию из германских университетов, где изучали философию. А Белинский в то время был участником их совместных попоек… И вот когда под утро расходились по домам, он останавливал в подворотне кого-нибудь из них и расспрашивал о немецкой философии. Сам Белинский никаких иностранных языков не знал, и ему приходилось довольствоваться сведениями, которые он получал от собутыльников… А потом в своих статьях он спорил с немецкими философами…

Дед Габричевского Александр Владимирович Станкевич жил очень долго и являл собою тип старого русского барина. Летом он жил в имении, зимою — в собственном доме в Большом

Чернышевском переулке, в непосредственной близости от Консерватории. Особняк этот и по сию пору стоит, а в шестидесятых годах на калитке еще красовалась старинная надпись: «Свободенъ отъ постоя».

А. В. Станкевич в сопровождении камердинера Ивана каждый день совершал прогулку по Чернышевскому переулку. Но стоило ему увидеть хотя бы один автомобиль, как он немедленно возвращался домой. Цивилизации он не терпел.

Весьма занятна история о том, как в его дом провели электричество. Все понимали, что старик этого никак не одобрит, а потому работы были сделаны летом, пока он был в имении. И вот уже осенью, по возвращении в московский дом, надо было ему сообщить об этой важной перемене. С этой целью к нему был послан самый любимый внук — Юра. Мальчик вошел к деду, который лежал на кровати, а в изголовье у него стоял столик с лампой.

— Дедушка, — сказал Юра, — у нас теперь электрическое освещение. Смотри!

Мальчик нажал кнопку, и под стеклянным абажуром вспыхнула лампочка.

— Так, — сказал дед, — а как ее погасить?

— Очень просто. Так же, как и зажечь… Надо опять нажать эту кнопку… Вот так…

Как только свет погас, старый барин изо всей силы ударил рукою по лампе, та грохнулась на пол и разбилась. Он до смерти своей так и не признал электричества.

Габричевский живо вспоминал такую сцену. Коридор в доме на Чернышевском залит электрическим светом… Дед идет из столовой в свой кабинет, а впереди шествует камердинер Иван, который на вытянутой руке несет бронзовый шандал с шестью горящими свечами…

Если кто-нибудь из его малолетних внуков шалил или вел себя неподобающим образом, А. В. Станкевич говорил с характерной интонацией:

— Дурак, дурак, бойся Бога!

Мы совершаем очередную прогулку по Тепсеню. Габричевский говорит:

— Как-то раз следователь спросил меня: «Что бы вы сделали, если бы ваш отец поджег детский дом?»

— Ну и что же вы ему сказали? — спрашиваю я.

— Я ему сказал: «Это вопрос схоластический, я на него отвечать отказываюсь…»

Его отец Георгий Норбертович Габричевский был известный ученый, врач. В Москве теперь есть научный институт и улица его

имени. Он довольно рано умер, его вдова ездила в Париж к Родену и заказала надгробный памятник.

С этим монументом тоже связана целая история. Наталья Алексеевна рассказывала мне, что в тот день, когда большевики переименовали Большой Чернышевский переулок в улицу Станкевича (в честь Николая Владимировича), родственников сего последнего выгнали из наследственного дома. Там поместилось какое-то учреждение. Памятник работы Родена по причине революции и разрухи так и не был установлен на кладбище, а стоял в одной из комнат особняка. Новые владельцы выбросили эту скульптуру из окна. По счастью, мраморный монумент упал в сад на мягкую землю и не разбился.

И тут Александр Георгиевич стал ходить по тогдашним музеям, умоляя бесплатно взять работу Родена. В конце концов хлопоты его увенчались успехом, скульптуру забрали. Теперь это один из немногих подлинных «Роденов» в России.

С некоторого времени наши прогулки с Габричевским стали ежедневными. Ему предписано было врачами ходить пешком, и я взял на себя труд сопровождать его — и в Коктебеле и в Москве. Во время этих неспешных моционов я жадно впитывал его мысли, суждения, самый строй его речи.

Мы идем на Тверскую, в аптеку. Габричевский указывает мне на здание новой гостиницы и говорит:

— Посмотри, уменьшающиеся пропорции… Сразу видно, что архитектор ученик Жолтовского.

(С Иваном Владиславовичем Жолтовским он был в свое время дружен, и это имя во время наших прогулок возникало частенько.)

Вот Габричевский смотрит на здание Арсенала, высящееся за кремлевской стеною.

— Узкий фриз и окна в глубоких нишах. Жолтовский говорил, что это классический способ создать впечатление, будто стена очень массивная…

В другой раз он обращает мое внимание на фальшивые балкончики с порталами, они обрамляют окна на старом здании университета.

— Жолтовский видеть этого не мог. Он говорил: «Как это можно украшать архитектуру — архитектурой?»

И еще о Жолтовском. Александр Георгиевич вспоминал, что Иван Владиславович относился к своим коллегам, советским архитекторам, с необычайным презрением. Он говорил: «Я по крайней мере знаю, что, где, как и у кого украсть… А они, невежды, даже и этого не могут…»

Габричевский свидетельствовал, что Жолтовский, пользуясь

своим влиянием, отстоял здание Манежа, которое уже было предназначено большевиками на снос…

— Я помню, — говорит мне Александр Георгиевич, — я вышел из дома в январе двадцать четвертого года… Стояла длинная очередь к гробу Ленина, люди жгли костры и грелись… А вот тут, на Манеже, висел загадочный лозунг: «Могила Ленина — колыбель человечества»… Это я не понимаю, что такое…

— Это не так уж трудно расшифровать, — отвечаю я.

— Ты так думаешь?

— Я надеюсь, вы не станете мне возражать, — говорю я, — если я скажу, что партия большевиков — сатанинская пародия на Церковь, съезды — это соборы, парады, демонстрации и митинги — ритуальные действа, чучело Ленина пародирует святые мощи и так далее…

— Это справедливо, — отзывается Александр Георгиевич.

— Так вот, — продолжаю я, — лозунг «могила Ленина — колыбель человечества» — это такая же точно сатанинская пародия на слова молитвы, обращенной ко Христу: «Гроб Твой — источник нашего воскресения».

— Александр Георгиевич, — говорю я во время очередной прогулки, — а вы знаете, как теперь называется еда? Продукты питания…

— Да? — говорит он. — А что это означает?

— Ну, по смыслу самих слов очевидно, что кто-то чем-то питается, потом происходит пищеварение, а затем выходит — «продукт питания»… И главное, это наименование абсолютно соответствует качеству теперешнего продовольствия.

— Это интересно, — отзывается Габричевский…

Про Ахматову Габричевский говорил:

— Я ее боюсь.

И она о нем то же самое:

— Я его боюсь.

Как-то я привез Ахматову к Габричевским. Туда забрел случайный гость и стал расхваливать выставку картин Рериха. Ахматова и Габричевский молчали. Когда этот человек ушел, Анна Андреевна сказала:

— Александр Георгиевич, неужели вам нравится Рерих? По-моему, это немецкий модерн.

— Финский, — поправил Александр Георгиевич.

(Естественно, под словом «модерн» оба подразумевали определенный стиль начала века.)

Летом шестьдесят шестого года я писал в Коктебеле воспоминания об Ахматовой. Когда это было готово вчерне, я показал мемуары Габричевскому. Он отозвался весьма

благосклонно и притом добавил, имея в виду Анну Андреевну:

— Это очень хорошо, что она была такая умная.

В шестьдесят пятом году, зимой, я впервые прочел «Четвертую прозу» Мандельштама, пленился ею и собственноручно переписал на машинке. (Как можно было догадаться, одной из причин появления этого шедевра было судебное дело, иск переводчика Горнфельда, который обвинял Мандельштама в плагиате.)

В Коктебеле я показал свой экземпляр «Четвертой прозы» Габричевскому. Она привела его в восторг. При этом я услышал такое:

— Я был свидетелем на суде Мандельштама и Горнфельда. В перерыве между заседаниями Осип Эмильевич повел меня как свидетеля со своей стороны в ближайшее кафе… Пока мы с ним сидели за столиком, он говорил мне почти все то, что здесь написано… Но — поразительное дело — тогда это не произвело на меня ни малейшего впечатления…

Я спросил его:

— А кто там, в этом деле, был прав?

— Горнфельд, конечно, — отвечал Габричевский, — Мандельштам у него все списал…

— Тогда почему же вы выступали со стороны Мандельштама?

— Ну… — Александр Георгиевич замялся. — Мандельштам все-таки поэт, а Горнфельд вообще неизвестно что такое…

Мы гуляем по Тепсеню. Я говорю:

— Я люблю стихи с отроческих лет. И вот для самого себя сформулировал, каким образом можно отличить хорошие стихи от плохих. Ну, разумеется, речь идет только о таких образцах, где полноценная рифма, абсолютное владение размером и т. д. В настоящих стихах всегда наличествует напряжение, струна, тетива. Если этого нет, то никакие формальные выкрутасы не помогут… Есть важное свидетельство об этом, которое оставил Мандельштам, его восьмистишие:

Люблю появление ткани,
Когда после двух или трех,
А то четырех задыханий
Придет выпрямительный вдох.

И так хорошо мне и тяжко,
Когда приближается миг
И вдруг дуговая растяжка
Звучит в бормотаньях моих.

Александр Георгиевич выслушал все и сказал:

— Это же самое и почти такими словами мне говорил Фальк. Он этого добивался в живописи.

С Робертом Рафаиловичем Фальком Габричевский был дружен и его картины ценил очень высоко.

Помню также его отзыв об Александре Тышлере, который на моей памяти один раз появился в Коктебеле.

— Пожалуй, сейчас это лучший художник, — сказал А. Г., а потом добавил: На этой территории…

Габричевский поделился со мной таким существенным наблюдением. Старая, классическая живопись всегда притягивает зрителя к себе, манит тебя внутрь рамы… А искусство XX века, модерн, наоборот — выпирает, вылезает из рамы, наступает на зрителя.

Будучи человеком воспитанным и учтивым, об искусстве Габричевский высказывался весьма откровенно. Тут истина была для него дороже самых близких отношений.

Старый приятель его Н. Ч. как-то преподнес ему свой роман, а потом спросил о впечатлении. Александр Георгиевич стал говорить нелицеприятно… В конце концов автор не выдержал и вскричал:

— Ну что ты от меня хочешь?.. Я же не Хемингуэй!

Я на всю жизнь запомнил наш с ним разговор о Михаиле Булгакове. Было это в 1966 году, только что вышел номер журнала «Москва» с первой частью «Мастера и Маргариты». Поначалу я был от романа в восторге. Александр Георгиевич охладил мой пыл, сказав:

— Он плохо пишет.

— А кто же пишет лучше? — вскричал я.

— Гоголь, — отвечал Габричевский.

Притом к самому Булгакову он относился с большой симпатией. Габричевский вспоминал, как в мастерской у Макса Волошина Леонид Леонов читал какой-то свой роман. А Булгаков при этом сидел на антресолях и дремал. Но как только чтение прерывалось, Михаил Афанасьевич демонстративно перевешивался через перила и бурно аплодировал Леонову.

XXVII

Воспитанный Ахматовой, я воспринял от нее отрицательное отношение к коктебельскому культу Макса Волошина. Но поскольку я подружился с Габричевскими, жил у них месяцами, мне волей-неволей пришлось посещать «дом поэта».

Раза два мне пришлось сопровождать тогда Александра Георгиевича в Духов день. День рождения Макса — 16 мая 1877 года — был на второй день праздника Пятидесятницы. Это дало ему повод всякий год устраивать семейный праздник именно в День Святого Духа, что само по себе весьма кощунственно, а уж коли речь идет об антропософе, да и язычнике, то ни в какие ворота не лезет.

В шестидесятых годах у Марии Степановны Волошиной в Духов день собиралось немногочисленное общество, состоявшее из интеллигентов второго, а то и третьего разбора. Какие-то отставные певички, немолодые, но восторженные девицы… Мы с Габричевским бывали чуть ли не единственными мужчинами. Угощение обыкновенно состояло из самодеятельных тортов с большим количеством питьевой соды, а также коробок с шоколадными конфетами, которые были решительно несъедобны. Марии Степановне дарили шоколад в большом количестве, и коробки эти месяцами или даже годами лежали в кладовке, дожидаясь своей очереди попасть на стол.

Вдова поэта привыкла к поклонению певичек и девиц, а потому изъяснялась всегда тоном капризным и безапелляционным.

— У нас в Коктебеле, — говорила она, — все раскопали этими гольденвейзерами…

— Бульдозерами, Мария Степановна, — почтительно поправляет какая-нибудь обожательница поэзии Макса.

— Какая мне разница? — отвечает вдова. — Все равно гадость!

А вслед за этим произносится такое:

— У нас в Коктебеле совершенно невозможно достать ни человеческого мяса, ни человеческого молока…

(Разумеется, тут нет и тени антропофагии, речь идет о качестве съестных припасов.)

В особо торжественных случаях сама Мария Степановна появлялась у Габричевских. Помнится, я был свидетель забавной сценки. Некий местный коктебельский житель стал вспоминать двадцатые годы, когда Коктебель был малолюдным, а залив — полным рыбы. При сем присутствовавшая вдова Волошина

необычайно оживилась и, по-рыбацки отмерив ладонью расстояние на левой руке, показала:

— Вот такие были лобаны!..

Тут старожил стал говорить о ядовитых рыбах, прикосновение к которым вызывало воспаление и отеки на руках. Мария Степановна с тем же воодушевлением и тем же жестом подтвердила:

— Вот такие бывали опухоли!..

Стоит жаркий летний день. Я поднимаюсь на балкон, место занятий Габричевского, и застаю его в некотором смущении. Он говорит:

— Сейчас ко мне придет Мариэтта Шагинян и будет спрашивать о своей книге. А я не знаю, что ей сказать…

Незадолго до этого Шагинян преподнесла ему свое сочинение о чешском композиторе Мысливечке, и, разумеется, опус этот был ниже всякой критики.

— Я убедился, — продолжает Габричевский, — что она не знает слова «шпалы». Описывая свое железнодорожное путешествие, она замечает, что «рельсы лежали на бревнах»…

Тут я поспешно ретируюсь, ибо вижу, что Шагинян уже поднимается по лестнице.

Через час, когда она ушла, я опять поднялся на балкон.

— Ну и что вы ей сказали по поводу книги? — спрашиваю я Габричевского.

Он невозмутимо говорит:

— Я ей сказал, что бревна, на которые кладут рельсы, называются шпалами…

Вообще я полагаю, что феномен Мариэтты Шагинян еще ждет своего исследователя. Литературная одаренность, бурный, неукротимый темперамент, необычайная плодовитость, полное, мягко выражаясь, отсутствие умственных способностей — и все это в сочетании с искреннейшей преданностью делу партии Ленина — Сталина…

Шагинян сама рассказывала у Габричевских о своем замечательном лондонском приключении. Она попала в Англию в октябре 1956 года, когда советские люди еще за границу не ездили. И вдруг она увидела на улице демонстрацию. Разумеется, Шагинян решила, что свой социальный протест выражают эксплуатируемые капиталистами рабочие. И немедленно присоединилась к процессии, пошла в первых рядах, размахивала клюкой и что-то выкрикивала… А демонстрация тем временем достигла своей цели, каковой оказалось советское посольство. Это был протест против зверского подавления нашими танками венгерской революции… И тут Шагинян поспешно ретировалась.

Одна моя знакомая дама в шестидесятых годах жила в литфондовском доме, где была и Шагинян. За табльдотом она то и дело повторяла:

— Я сталинка…

Ей возражали:

— Но позвольте, ведь Сталин — убийца миллионов…

— Ну и что? — говорила старуха. — Они все были предатели…

— Как? Двадцать миллионов предателей?..

— Да! Да! Да! — отвечала Шагинян. — Вот сейчас все твердят о Бухарине. А у меня с Бухариным был роман. У меня есть его любовные письма!.. Там каждая строчка дышит предательством!..

Среди тех, кого я видел в доме Габричевских, был лишь один человек, который мог считаться другом Александра Георгиевича, был ему ровней. Это Генрих Густавович Нейгауз, Гарри, как его звали близкие люди. Насколько я могу судить, Габричевский и Нейгауз сошлись и подружились во время войны в страшном городе Свердловске, куда оба были высланы. Их связывала не только общая любовь к музыке в частности и к искусству вообще — оба они были люди пьющие, а это, как известно, особенно сближает. В конце жизни Габричевский уже совершенно не пил, ну а о Нейгаузе этого нельзя сказать.

Мы с Габричевским идем по Тепсеню. Я говорю:

— Вы помните строчки Мандельштама о Нейгаузе?

— Нет, — отвечает А. Г., - я вообще первый раз об этом слышу…

Я читаю ему:

Разве руки мои — кувалды?
Десять пальцев — мой табунок!
И вскочил, отряхая фалды,
Мастер Генрих, конек-горбунок.

— Замечательно, — говорит Габричевский.

Удачность мандельштамовской метафоры подтвердилась для нас впоследствии неожиданным образом. Уже после смерти Генриха Густавовича его вдова Сильвия Федоровна просила Габричевского перевести с немецкого на русский юношеские письма Нейгауза. Писаны они были в Вене, где он учился, и адресованы в Россию его родителям. Отец рекомендовал сыну играть не Брамса, а Шопена. В ответ на это Нейгауз-младший писал, что Шопена может исполнять «любой фортепианный жеребец»…

У Нейгауза был удивительный облик. Он был тонок, изящен,

элегантен, лицо излучало ум, доброту, живость… Шутки его бывали блистательны. Рассказывали, например, как ему довелось в Консерватории слушать игру на фортепиано какой-то очень красивой студентки. Отзыв его был такой:

— Венера… Только бы еще руки обломать…

Я помню, с какой любовью, с какой-то особенной улыбкой он говорил о своем лучшем ученике — Рихтере. Такой, например, рассказ. Святослав Теофилович сдавал экзамен то ли по истории музыки, то ли по так называемой музыкальной литературе. Какое бы произведение ни называли экзаменаторы, Рихтер, не говоря ни слова, подсаживался к роялю и играл…

Наталья Алексеевна однажды спросила:

— Гарри, что такое пошлость?

Нейгауз отвечал:

— Это нечто вроде религии. Только гораздо сильнее.

Когда Генриху Густавовичу исполнилось семьдесят пять лет, Габричевские жили на даче в Переделкине у своего зятя Олега Стукалова. Чуть ли не в самый день рождения туда пришел Нейгауз с женою. Наталья Алексеевна накрыла стол и огласила шуточные поздравительные телеграммы, которые сама сочинила к этому дню. Генрих Густавович очень смеялся, с удовольствием принял их и при этом сказал:

— Вот это я понимаю телеграммы… А то мне все желают долгих лет жизни… И это в мои семьдесят пять…

В тот вечер состоялся и мой с ним существенный разговор, один-единственный, ибо, когда он говорил с Габричевским, я, разумеется, помалкивал. А тут мы с Нейгаузом заговорили о русской поэзии XX века. Он знал ее великолепно и, к радости моей, оказался поклонником Иннокентия Анненского. Причем он помнил наизусть не только самые известные стихи, например, «Смычок и скрипка», но даже и шуточные, такие, как сонет-акростих «Петру Потемкину на память книга эта».

И еще воспоминания того вечера. Сильвия Федоровна, швейцарка и вообще дама сдержанная, следила за тем, чтобы Нейгауз не злоупотреблял спиртным. А Наталья Алексеевна как хозяйка его угощала. И вот Генрих Густавович в сердцах заявил, что разница между ними — как между «православием и кальвинизмом»…

В шестидесятые годы на коктебельской почте почему-то невероятно перевирались присылаемые туда телеграммы. Как-то летом у Габричевских ждали Нейгауза. Он должен был приехать из Ялты. Наконец приносят телеграмму. Но в ней все искажено так, что невозможно понять, которого числа и каким видом транспорта прибудет Генрих Густавович. И всю эту телеграфную

абракадабру венчала подпись: «Пейгауз».

В доме Габричевских я близко познакомился с одной из колоритнейших фигур тогдашней Москвы — Ниной Константиновной, вдовою художника Льва Бруни и дочерью поэта Бальмонта. Она иногда заходила и на Ордынку к Ахматовой, но Анна Андреевна ее, честно говоря, недолюбливала. Полагаю, тут сказывалась антипатия акмеистов к самому Бальмонту.

Царствие Небесное Нине Константиновне, человек она была доброжелательнейший, необычайно общительный и совершенно возвышающийся над бытом. В начале шестидесятых она еще где-то состояла на службе, а потому бывала в своем крымском доме лишь наездами.

Появляясь у Габричевских в Коктебеле, она нам говорила:

— Я решила поехать в Судак в мае, но Николай Иванович не хотел меня отпускать. Тогда Софья Федоровна посоветовала мне обратиться к Ивану Петровичу, а тот позвонил Андрею Сергеевичу, чтобы он через Анну Семеновну воздействовал на Николая Ивановича… И еще я просила об этом Клавдию Карповну, и в конце концов Николай Иванович разрешил мне уехать на три недели…

Тут следует заметить, что ни один из нас, слушавших этот монолог, не только не знал никого из упоминаемых людей, но и представления не имел даже, где именно Нина Константиновна служит.

В этом роде были почти все ее рассказы. Там мелькали какие-то Леночки, Зинули, Сереженьки и т. д. и т. п. Изредка, правда, появлялась в этом водовороте имен спасительная соломинка — Корней Иванович, но она сейчас же исчезала среди Петр Петровичей, Иван Казимировичей и Станислав Сергеичей…

Как-то раз Нина Константиновна рассказала нам, что ехала в поезде от Москвы до Феодосии в одном купе с детской писательницей Валентиной Осеевой. Разумеется, как и все прочие бесфамильные Семены Степанычи и Софьи Капитоновны, попутчица оказалась милейшим человеком и всю дорогу угощала нашу Н. К. превосходнейшим таллиннским шоколадом.

— Я съела так много шоколада только еще один раз в жизни, — призналась рассказчица. — Это было на юбилее Корнея Ивановича.

Когда умерла Ахматова, Нина Константиновна приехала в Ленинград на похороны. Как и многие из нас, в Союз писателей на «гражданскую панихиду» она не пошла, и мы долго ждали на комаровском кладбище, пока привезут гроб…

Было очень холодно. В какой-то момент Нина Константиновна отозвала меня в сторону. Она открыла свою

поместительную сумочку, извлекла оттуда фляжечку с коньяком и стопочку, мы с ней выпили, чтобы немного согреться…

После похорон мы отправились в ахматовский домик, в Будку. Там была панихида. Служили священник и диакон. Как только они облачились, Нина Константиновна извлекла из той же своей сумки тоненькую церковную свечку и зажгла ее.

Тут я понял, что она — великий человек.

31 августа 1992 года